



ГЕРМАН

ГЕССЕ

НАРЦИСС И ЗЛАТОУСТ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Герман Гессе
Нарцисс и Златоуст

«Издательство АСТ»

1930

УДК 821.112.2-3
ББК 84(4Гем)-44

Гессе Г.

Нарцисс и Златоуст / Г. Гессе — «Издательство АСТ»,
1930 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-119214-3

«Нарцисс и Златоуст» – философская повесть, которую наряду с «Петером Каменциндом» принято считать ключевой для творческого становления Гессе. Стилизованная под авантюрный роман позднего Средневековья история двух гениальных друзей-послушников из уединенного германского монастыря, идущих к духовному просветлению и совершенству в искусстве различными путями. Увлекательное и мудрое произведение, которое по-прежнему не утратило философской актуальности и все еще восхищает читателей тонкой изысканностью. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.112.2-3

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-119214-3

© Гессе Г., 1930
© Издательство АСТ, 1930

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	11
Глава третья	17
Глава четвертая	23
Глава пятая	30
Глава шестая	36
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Герман Гессе

Нарцисс и Златоуст

Глава первая

У входа в монастырь Мариабронн перед покоящейся на небольших двойных колоннах полукруглой аркой на обочине дороги стоял каштан, одинокий сын юга, принесенный в давние времена из Рима каким-то пилигримом, благородное дерево с мощным стволом; ласково склонялась его круглая крона над дорогой, во всю грудь дышала на ветру; весной, когда все вокруг зеленело и даже монастырский орешник уже покрывался красноватой молодой листвой, приходилось еще долго ждать его листьев, а потом, в пору самых коротких ночей, он выбрасывал вверх из пучков листьев матовые, бело-зеленые стрелы своих диковинных цветов, так призывно и удушливо-терпко пахнувших, а в октябре, когда уже собраны были фрукты и виноград, его желтеющая крона роняла на осеннем ветру колючие, не каждый год вызревавшие плоды, из-за которых монастырские мальчишки затевали потасовки и которые субприор Грегор, выходец из Италии, жарил в своей комнате на огне камина. Ласково осеняла вход в монастырь чудесная крона редкостного дерева, нежного, зябкого гостя из других краев, который был связан узами тайного родства с песчаником стройных двойных колонн портала и с каменными украшениями оконных арок, карнизов и пилястров; которого любили итальянцы и латиняне и на которого с удивлением взирали как на чужака местные жители.

Уже несколько поколений монастырских учеников прошло под чужеземным деревом, смеясь, играя, споря, босиком или обутые – смотря по времени года, – с грифельной доской под мышкой, с цветком во рту, с орехом в зубах или со снежком в руке. Появлялись все новые лица, пройдут несколько лет, и уже видишь другие, в большинстве своем друг на друга похожие – белокурые и кудрявые. Некоторые оставались там, становились послушниками, становились монахами – остригались, носили рясу, подпоясавшись веревкой, читали книги, обучали мальчиков, старели, умирали. Других по окончании учения родители забирали домой – в рыцарские замки, в дома купцов и ремесленников, – и они убегали в мир, чтобы отдаться своим играм и трудам, а может быть, и наведаться разок-другой в монастырь, куда, возмужав, они приводили маленьких сыновей, дабы отдать их в ученики к патерам, и, задумчиво улыбаясь, поднимали глаза к каштану, а затем исчезали опять. В кельях и залах монастыря, между круглыми тяжелыми арками окон и статными двойными колоннами из красного камня люди жили, учили, штудировали, распоряжались, управляли; здесь из поколения в поколение занимались всякого рода искусствами и науками – духовными и мирскими, светлыми и темными. Писались и комментировались книги, измышлялись системы, собирались писания древних, рисовались миниатюры на рукописях, поддерживалась вера народа, над верой народа посмеивались. Ученость и благочестие, простота и лукавство, евангельская мудрость и мудрость греков, белая и черная магия – все это давало здесь ростки, для всего было место, место было как для уединения и покаяния, так и для общения и благоденствия; перевес и преобладание того или иного зависели всякий раз от личности настоятеля и господствующего направления. Временами монастырь был хорошо посещаем и славился своими заклинателями бесов и знатоками демонов, временами – своей замечательной музыкой, временами – каким-нибудь святым отцом, совершавшим исцеления и чудеса, временами – своей щучьей ухой и паштетами из оленьей печени; все приходило в свое время. И всегда в сонме монахов и учеников, ревностных в благочестии и равнодушных к нему, постников и чревоугодников, – всегда среди многих, что приходили сюда, жили и умирали, был тот или иной единственный и Особенный, один, которого любили

все или все боялись, один, казавшийся избранным, один, о котором еще долго говорили, когда сотоварищи его уже бывали забыты.

Вот и теперь в монастыре Мариабронн было двое единственных и особенных, старик и юноша. В толпе братьев, заполнявших дортуары, церкви и классные комнаты, были двое, о которых знал каждый, на которых обращал внимание любой. То был настоятель Даниил, старик, и воспитанник Нарцисс, юноша, который совсем недавно стал послушником, но, против обыкновения, благодаря своим особым дарованиям уже выполнял обязанности учителя; особенно силен он был в преподавании греческого языка. Оба они, настоятель и послушник, снискали в монастыре уважение; за ними наблюдали, они вызывали любопытство, восхищение и зависть, но тайно их и порочили.

Настоятеля любило большинство, у него не было врагов, он был воплощением доброты, простоты и смирения. Лишь ученые монастыря примешивали к своей любви долю снисходительности – ведь настоятель Даниил, может быть, и святой, но ученым-то он не был. Ему была свойственна та простота, которая и есть мудрость, но его латынь была без блеска, а по-гречески он вообще не знал.

Те немногие, что при случае слегка посмеивались над простотой настоятеля, были, напротив, очарованы Нарциссом, чудо-мальчиком, прекрасным юношей с изысканным греческим, рыцарски безупречной манерой держаться, спокойным проникновенным взглядом мыслителя и тонкими, красиво и строго очерченными губами. За то, что он великолепно владел греческим, его любили ученые. За то, что был столь благороден и изящен, любили почти все, многие были в него влюблены. За то, что он был слишком спокоен и сдержан и имел изысканные манеры, некоторые его недолюбливали.

Настоятель и послушник, каждый на свой лад, нес судьбу избранного, по-своему царил, по-своему страдал. Оба чувствовали близость и симпатию друг к другу более, чем ко всему остальному монастырскому люду; и все-таки они не искали сближения, все-таки ни один не мог довериться другому. Настоятель обходился с юношей с величайшим тщанием, крайне предупредительно, лелеял его как редкого, нежного, может быть, слишком рано созревшего, возможно, находящегося в опасности брата. Юноша принимал каждое приказание, каждый совет, каждую похвалу настоятеля с совершенным самообладанием, никогда не возражая, никогда не досадуя, и если суждение о нем настоятеля и было правильно, а единственным его пороком была гордыня, то он великолепно умел скрывать этот порок. Ничего дурного нельзя было о нем сказать, он был само совершенство, он превосходил всех. И все-таки лишь немногие, кроме ученых, стали ему настоящими друзьями; и все-таки изысканность окружала его как остужающий воздух.

– Нарцисс, – сказал ему настоятель как-то после исповеди, – я, признаюсь, виноват, что строго судил о тебе. Я часто считал тебя высокомерным и, возможно, был в этом несправедлив к тебе. Ты совсем один, юный брат, ты одинок, у тебя есть почитатели, но нет друзей. Мне даже хотелось бы найти иногда повод пожурить тебя, но никакого повода нет. Мне хотелось бы, чтобы иногда ты был невежлив, как это часто случается с молодыми людьми твоего возраста. С тобой такого не бывает. Порою я даже немного боюсь за тебя, Нарцисс.

Юноша поднял на старика свои темные глаза:

– Я очень не хочу, отец мой, доставлять вам беспокойство. Наверное, я в самом деле высокомерен, отец мой. Прошу вас, накажите меня за это. Мне и самому иногда хочется наказать себя. Пошлите меня в скит, отец, или назначьте мне более низкую службу.

– Для того и другого ты еще слишком молод, дорогой брат, – сказал настоятель. – К тому же ты очень способен к языкам и к размышлениям, сын мой. Поручить тебе более низкую службу – это значит оставить Божьи дары втуне. Ведь ты, видимо, станешь учителем и ученым. Разве ты не хочешь этого сам?

Простите, отец, я еще точно не знаю своих желаний. Я всегда буду испытывать радость от наук, как может быть иначе? Но я не думаю, что науки будут моим единственным поприщем. Ведь бывает, что не желания влияют на судьбу и призвание человека, а нечто иное. Предопределение.

Слова юноши озаботили настоятеля. Однако на его старом лице появилась улыбка, когда он сказал:

– Насколько я успел узнать людей, все мы склонны, особенно в юности, принимать провидение за наши желания и наоборот. Но коль ты полагаешь, что заранее знаешь свое призвание, скажи мне об этом. К чему же ты чувствуешь себя призванным?

Нарцисс наполовину прикрыл веками свои темные глаза, так что они исчезли за длинными черными ресницами. Он молчал.

– Говори, сын мой, – сказал после долгого ожидания настоятель.

Тихим голосом, с опущенными глазами, Нарцисс начал говорить:

– Я, кажется, знаю, отец мой, что прежде всего призван к жизни в монастыре. Я стану, так мне кажется, монахом, стану священником, субприором и, может быть, настоятелем. Я думаю так не потому, что хочу этого. Я не желаю должностей. Но их на меня возложат.

Долго оба молчали.

– Почему ты уверен в этом? – спросил нерешительно старик. – Какое же свойство, кроме учености, укрепляет в тебе эту веру?

– Вот какое свойство, – медленно произнес Нарцисс. – Я чувствую характер и призвание людей, когда думаю о них, а не только о себе. Это свойство заставляет меня служить другим тем, что я властвую над ними. Не будь я рожден для жизни в монастыре, я, должно быть, стал бы судьей или государственным деятелем.

– Пусть так, – кивнул старик. – Проверял ли ты свою способность узнавать людей и их судьбы на ком-нибудь?

– Проверял.

– Готов ли ты назвать мне кого-нибудь?

– Готов.

– Хорошо. Поскольку мне не хотелось бы проникать в тайны наших братьев без их ведома, может быть, ты скажешь мне, что ты, как тебе кажется, знаешь обо мне, твоим настоятеле Данииле.

Нарцисс поднял веки и посмотрел настоятелю в глаза:

– Это ваше приказание, отец мой?

– Мое приказание.

– Мне трудно говорить, отец.

– И мне трудно, юный брат, принуждать тебя к этому. И все-таки я делаю это. Говори.

Нарцисс опустил голову и заговорил шепотом:

– Я мало что знаю о вас, уважаемый отец. Я знаю, что вы слуга Господа и что вы охотнее пасли бы коз или звонили в колокольчик где-нибудь в скиту и выслушивали исповеди крестьян, чем управляли большим монастырем. Я знаю, что вы особенно любите Святую Богородицу и больше всего молитесь Ей. Иногда вы молитесь о том, чтобы греческие и другие науки, которыми занимаются в монастыре, не внесли смятение и опасность в души, вверенные вам. Иногда молитесь, чтобы вас не оставляло терпение по отношению к субприору Грегору. Иногда молитесь, чтобы Господь послал вам покойную кончину. И, я думаю, вы будете услышаны и кончина ваша будет покойной.

Тихо стало в маленькой приемной настоятеля. Наконец старик заговорил.

– Ты мечтатель, и у тебя видения, – сказал седой владык ласково. – Даже благие и приятные видения могут быть обманчивы; не полагайся на них, как и я на них не полагаюсь. Не можешь ли ты увидеть, брат-мечтатель, что я думаю об этом в душе?

– Я вижу, отец, что вы очень благосклонно думаете об этом. Вы думаете так: «Этому молодому ученику что-то угрожает, у него видения, возможно, он слишком много предавался размышлениям. Я наложу на него епитимью, она ему, пожалуй, не повредит. Но епитимью, которую я наложу на него, я возьму на себя». Вот что вы думаете теперь.

Настоятель поднялся. С улыбкой он подал юноше знак к прощанию.

– Хорошо, – сказал он. – Не принимай свои видения слишком всерьез, юный брат. Господь требует от нас еще кое-чего, кроме видений. Положим, ты польстил старику, пообещав ему легкую смерть. Положим, старик охотно выслушал это обещание. А теперь довольно. Ты должен помолиться по четкам, завтра после утренней мессы, помолиться с полным смирением, а не кое-как, и я сделаю то же самое. А теперь иди, Нарцисс, у нас был долгий разговор.

В другой раз настоятелю Даниилу пришлось улаживать спор между младшим из обучающихся патеров и Нарциссом – те не могли прийти к согласию по одному пункту учебной программы: Нарцисс с большим упорством настаивал на введении определенных изменений в обучение, умело подтверждая их убедительными доводами; патер Лоренц, однако, из какого-то чувства ревности не хотел согласиться с этим, и за каждым новым обсуждением следовали дни недовольного молчания и обиды, пока Нарцисс из упрямства не заводил разговор снова. В конце концов патер Лоренц сказал, несколько задетый:

– Ну, Нарцисс, хватит спорить. Ты же знаешь, что решаю я, а не ты, мне ты не коллега, а помощник, и должен подчиняться. Но уж коль это дело для тебя так важно, я, хоть превосхожу тебя по должности, но не по знаниям и дарованиям, не хочу принимать решение сам, а давай изложим его отцу-настоятелю, и пусть он решает.

Так они и сделали, и настоятель Даниил терпеливо и дружелюбно выслушал доводы обоих ученых относительно обучения грамматике. После того как оба подробно изложили свое мнение и обосновали его, старик весело взглянул на них, покачал слегка седой головой и сказал:

– Дорогие братья, вы ведь оба не считаете, что я разбираюсь в этих делах столь же хорошо, как вы. Похвально со стороны Нарцисса, что он принимает дело обучения близко к сердцу и стремится улучшить его. Но если его старший коллега другого мнения, Нарциссу следовало бы помолчать и подчиниться, да и все поправки в обучении не стоят того, чтобы из-за них нарушались порядок и послушание в этом доме. Я порицаю Нарцисса за то, что он не сумел уступить. А вам обоим, молодым ученым, я желаю, чтобы у вас никогда не было недостатка в руководителях, которые глупее вас, – нет лучшего средства против гордыни.

С этой беззлобной шуткой он их отпустил. Но в последующие дни отнюдь не забыл проследить, наладились ли добрые отношения между обоими учителями.

И вот случилось так, что в монастыре, который видал столь много лиц, возникавших и исчезающих, появилось еще одно, и это новое лицо принадлежало не к тем, что остаются незаметными или быстро забываются. Это был юноша, который уже давно был записан своим отцом и теперь, весенним днем, прибыл учиться в монастырской школе. Они, юноша и его отец, привязали лошадей у каштана, и из портала им навстречу вышел привратник.

Мальчик посмотрел вверх на дерево, еще по-зимнему голое.

– Такого дерева, – сказал он, – я еще никогда не видел. Прекрасное, удивительное дерево! Интересно, как оно называется.

Отец, пожилой господин с лицом, на котором заботы и переживания оставили свои следы, не обратил внимания на слова юноши. Привратник же, у которого мальчик сразу вызвал симпатию, удовлетворил его любопытство. Юноша любезно поблагодарил, подал ему руку и сказал:

– Меня зовут Златоуст, я буду здесь учиться.

Привратник приветливо улыбнулся ему и пошел впереди прибывших через портал и дальше вверх по широкой каменной лестнице, а Златоуст вошел в монастырь без робости, с

чувством удовлетворения от встречи с двумя существами, с которыми можно было дружить, – деревом и привратником.

Прибывших принял сначала патер, управлявший школой, а к вечеру и сам настоятель. Обоим отец, чиновник имперской канцелярии, представил своего сына Златоуста, а его самого пригласили какое-то время погостить в монастыре. Но он воспользовался гостеприимством всего на одну ночь, объяснив, что завтра должен отправиться обратно. В качестве подарка монастырю он предложил одного из двух своих коней, и дар был принят. Беседа с духовными лицами проходила чинно и сдержанно, но и настоятель, и патер радостно посматривали на почтительно молчавшего Златоуста – красивый, нежный юноша сразу понравился им. На следующий день они без особого сожаления отпустили отца, а сына охотно оставили. Златоуст был представлен учителям и получил место в дортуаре для учеников. Почтительно, с грустным лицом попрощался он с отъезжавшим отцом и смотрел ему вслед, пока тот не скрылся между амбаром и мельницей за узкой аркой ворот внешнего монастырского двора. Слеза повисла на его длинных светлых ресницах, когда он повернулся; но тут его, ласково похлопывая по плечу, уже встретил привратник.

– Дружок, – сказал он утешительно, – не печалься. Многие поначалу немного тоскуют по дому, по отцу, матери, братьям и сестрам. Но ты скоро увидишь: и здесь жить можно, даже неплохо.

– Спасибо, брат-привратник, – сказал юноша, – у меня нет ни братьев, ни сестер, ни матери, у меня есть только отец.

– Зато здесь ты найдешь товарищей, и различные знания, и музыку, и новые игры, которых еще не знаешь, и многое другое, вот увидишь. А если понадобится кто-то, кто желает тебе добра, то приходи ко мне.

Златоуст улыбнулся ему:

– О, я очень вам благодарен. И, если вы хотите порадовать меня, покажите, пожалуйста, поскорее, где стоит наша лошадка, которую оставил здесь мой отец. Мне хотелось бы поздороваться с ней и посмотреть, хорошо ли ей живется.

Привратник не преминул тотчас отвести его в конюшню, находившуюся возле амбара. Там в теплом полумраке остро пахло лошадыми, навозом и ячменем, а в одном стойле Златоуст нашел своего бурого коня, на котором приехал сюда. Он обнял за шею животное, которое узнало его и протянуло ему навстречу голову, приник щекой к его широкому лбу с белым пятном, нежно погладил и прошептал на ухо:

– Здравствуй, Блесс, дружок мой славный, как тебе живется? Ты меня еще любишь? Тебя кормят? Ты тоже думаешь о доме? Блесс, коняшка милый, как хорошо, что ты остался здесь, я буду часто приходить к тебе и присматривать за тобой.

Он достал из-за обшлага кусок хлеба, который оставил от завтрака, и, покروшив, покормил лошадь. Потом попрощался и последовал за привратником во двор, широкий, как рыночная площадь большого города, и частично заросший липами. У входа в монастырь он поблагодарил привратника, подав ему руку, но заметил, что уже не помнит дороги в свою классную комнату, которую ему показали накануне, посмеялся и, покраснев, попросил привратника проводить его, что тот охотно сделал. Когда он вошел в классную комнату, где на скамьях сидели двенадцать мальчиков и юношей, помощник учителя Нарцисс обернулся.

– Я – Златоуст, новый ученик.

Нарцисс поздоровался, не улыбувшись, указал Златоусту место на задней скамье и сразу же продолжил занятие.

Златоуст сел. Он удивился такому молодому учителю, всего лишь на несколько лет старше себя, удивился и очень обрадовался, заметив к тому же, что этот молодой учитель так красив, так изыскан, так серьезен и при этом столь обаятелен. Привратник был с ним мил, настоятель встретил его так приветливо, там, в конюшне, стоял Блесс, частичка родины, и вот

теперь этот на удивление молодой учитель, серьезный, как ученый, и прекрасный, как принц, а какой спокойный, строгий, деловой, властный голос! Златоуст слушал с признательностью, еще, правда, не понимая, о чем шла речь. У него стало хорошо на душе. Он попал к добрым, милым людям и сам готов был любить их и завоевывать их дружбу. Утром в постели он чувствовал себя подавленным, да и усталым еще после долгого путешествия, а прощаясь с отцом, немного всплакнул. Но теперь было хорошо, он был доволен. Подолгу и все снова и снова смотрел он на молодого учителя, любовался его прямой, стройной фигурой, холодно сверкавшим взором, строгим ртом, ясно и четко произносящим слова, захватывающим, неутомимым голосом.

Но когда урок кончился и ученики с шумом поднялись, Златоуст вздрогнул, заметив, несколько смущенный, что спал, причем довольно долго. И не он один заметил это, но и его соседи по скамье, шепотом передававшие эту весть другим. Едва молодой учитель покинул классную комнату, ученики начали дергать и толкать Златоуста со всех сторон.

– Выспался? – спросил один, ослабившись.

– Достойный ученик! – издевался другой. – Из него выйдет замечательное светило церковного мира. Заснул, как сурок, на первом же уроке!

– Отнесите малыша в постель, – предложил кто-то, и, схватив Златоуста за руки и за ноги, они потащили его под общий хохот прочь.

Разбуженный таким образом, Златоуст пришел в ярость; он колотил направо и налево, пытаясь освободиться, получал тумаки, и в конце концов его повалили, а кто-то все еще держал его за ногу. Златоуст с силой вырвался от него, бросился на первого попавшегося и тотчас сцепился с ним в яростной схватке. Его противник был сильный мальш, и все жадно следили за поединком. Когда же Златоуст не отступил, а нанес противнику несколько славных ударов кулаком, среди соучеников у него уже появились друзья, хоть ни одного из них он не знал по имени. Но вдруг все стремительно бросилось в разные стороны, и едва они успели скрыться, как вошел патер Мартин, управляющий школой, и остановился перед Златоустом, который остался один. Он удивленно посмотрел на мальчика, голубые глаза которого на раскрасневшемся лице с синяками выражали смущение.

– Да что это с тобой? – спросил он. – Ведь ты Златоуст, не так ли? Уж не обидели ли тебя эти лодыри?

– О нет, – сказал мальчик, – я с ними справился.

– С кем это?

– Не знаю. Я еще никого не знаю. Кто-то боролся со мной.

– Ах вот как? Начал он?

– Не знаю. Нет, кажется, я сам начал. Они меня дразнили, и я разозлился.

– Ну, хорошо же ты начинаешь, мой мальчик. Запомни: если ты еще раз затеешь драку здесь, в классе, будешь наказан. А теперь ступай на ужин. Марш!

Улыбаясь, смотрел он Златоусту вслед, а тот, пристыженный, убежал, стараясь на бегу расчесать пальцами взлохмаченные белокурые волосы.

Златоуст сам считал, что его первый поступок в этой монастырской жизни был очень дурен и глуп; когда за ужином он искал и нашел своих соучеников, он испытывал угрызения совести. Но его встретили дружелюбно и уважительно, Златоуст по-рыцарски заключил мир со своим врагом и с той минуты почувствовал себя благосклонно принятым в этом кругу.

Глава вторая

Хотя со всеми он был в приятельских отношениях, настоящего друга он нашел не скоро – ни к одному из учеников он не чувствовал близости или хотя бы некоторой симпатии. Они же в ловком драчуне, которого склонны были считать достойным восхищения забиякой, с удивлением открыли весьма миролюбивого сотоварища, стремившегося скорее к славе примерного ученика.

Два человека, жившие в монастыре, привлекали к себе Златоуста, нравились ему, занимали его мысли, вызывали у него восхищение, любовь и даже благоговение: настоятель Даниил и помощник учителя Нарцисс. Настоятеля он склонен был почитать за святого: его простодушие и доброта, его ясный заботливый взгляд, манера отдавать приказания и управлять с благочестивым смирением, его добрые мягкие жесты – все это неудержимо влекло к себе. Охотнее всего Златоуст стал бы личным слугой этого благочестивого старца, был бы всегда при нем, подчиняясь и прислуживая, покорно принес бы ему в жертву все свое мальчишеское стремление к преданности и самоотдаче, учась у него чистой, благородной, праведной жизни. Ведь Златоуст собирался не только окончить монастырскую школу, но, по возможности, навсегда остаться в монастыре, посвятив свою жизнь Богу, – такова была его воля, таково было желание и требование его отца, и так было, видимо, предопределено Самим Богом. Никто, казалось, не замечал в прекрасном, сияющем мальчике, что на нем лежала какая-то печать, бремя происхождения, тайное предназначение к искупительной жертве. Даже настоятель не видел этого, хотя отец Златоуста сделал несколько намеков и ясно выразил желание навсегда оставить сына здесь, в монастыре. Какой-то тайный порок, казалось, тяготел над рождением Златоуста, что-то утаенное, казалось, требовало искупления. Но отец не очень-то понравился настоятелю, на его слова и некоторую его чванливость он ответил вежливой холодностью, не придав большого значения его намекам.

Другой же человек, пробудивший любовь Златоуста, был пронзительнее и видел больше, но был сдержан. Нарцисс очень хорошо понял, что за прелестная диковинная птица залетела в тот день к нему. Он, одинокий в своем благородстве, тотчас почувствовал в Златоусте родственную душу, хотя тот, казалось, был его противоположностью во всем. Если Нарцисс был темным и худым, то Златоуст, казалось, светился и цвел. Нарцисс был мыслитель и строгий аналитик, Златоуст – мечтатель с душой ребенка. Но противоположности перекрывало общее: оба были благородны, оба были отмечены явными дарованиями, отличавшими их от других, и оба получили от судьбы особое предзнаменование.

Горячо сочувствовал Нарцисс этой юной душе, чей склад и судьбу он вскоре познал. Пылко восхищался Златоуст своим прекрасным, необыкновенно умным учителем. Но Златоуст был робок; он не находил иного способа завоевать расположение Нарцисса, как до переутомления быть внимательным и смышленным учеником. И не только робость сдерживала его, удерживало также чувство, что Нарцисс опасен для него. Нельзя было иметь идеалом и образцом доброго, смиренного настоятеля и одновременно чересчур умного, ученого, высокодуховного Нарцисса. И все-таки всеми силами молодой души он стремился к обоим идеалам, столь несоединимым. Часто он страдал от этого. Иногда в первые месяцы учения Златоуст чувствовал в душе такое смятение и такую растерянность, что испытывал сильное искушение бежать из монастыря или на товарищах сорвать скопившийся в душе гнев. Нередко при всем своем добродушии он из-за какого-то легкого подтрунивания или дерзости товарищей совершенно неожиданно вспыхивал такой дикой злобой, что ему с невероятным трудом удавалось сдержаться, и он, смертельно побледнев, молча, с закрытыми глазами отворачивался. Тогда он разыскивал в конюшне Блесса, клал голову ему на шею, целовал его, горько плача. И посте-

пенно его страдания так возросли, что стали заметны. Щеки ввалились, взгляд потух, его всеми любимым смех слышался все реже и реже.

Он сам не знал, что с ним происходит. Он честно желал быть хорошим учеником, со временем быть принятым в послушники и потом стать благочестивым, смиренным братом патеров; ему казалось, что все его силы и способности устремлены к этим благочестивым, скромным целям, других стремлений он не знал. Как же странно и грустно было для него видеть, что эта простая и прекрасная цель столь трудно достижима. С каким унынием и неприятным удивлением замечал он порой за собой предосудительные склонности: рассеянность и отвращение к учению, мечтания и фантазии или сонливость во время занятий, неприязнь к учителю латыни и сопротивление, оказываемое ему, раздражительность и гневное нетерпение по отношению к соученикам. А больше всего смущало то, что его любовь к Нарциссу так плохо уживалась с любовью к настоятелю Даниилу. К тому же иногда в глубине души он, казалось, чувствовал уверенность, что и Нарцисс любит его, сочувствует ему и ждет его.

Намного больше, чем мальчик подозревал, мысли Нарцисса были заняты им. Он желал, чтобы этот красивый, светлый, милый юноша стал его другом, он угадывал в нем свою Противоположность и дополнение к себе самому, он охотно взял бы его под свою защиту, руководил бы им, просвещал, вел бы все выше и довел до расцвета. Но он сдерживался. Он делал это по многим соображениям, и почти все они были осознанными. Прежде всего его останавливало отвращение, которое он испытывал к тем учителям и монахам, что нередко влюблялись в учеников или послушников. Достаточно часто он сам с неудовольствием ловил на себе жадные взгляды пожилых мужчин, достаточно часто давал молчаливый отпор их любезностям и ласкам. Теперь он лучше понимал их – и его манило приголубить красивого Златоуста, вызвать его прелестный смех, нежно погладить по белокурым волосам. Но он ни за что не сделает этого, никогда. Кроме того, в качестве помощника учителя – состоя в ранге учителя, но не обладая его полномочиями и авторитетом, – он привык быть особенно осторожным и бдительным. Привык относиться к ученикам, которые были лишь немного моложе его, так, как будто он был на двадцать лет старше, привык строго запрещать себе любое предпочтение какого-либо ученика, по отношению же к ученику, который был ему неприятен, принуждал себя к особой справедливости и заботе. Его служение было служением Духу, этому была посвящена его строгая жизнь, и лишь втайне, в минуту наибольшей слабости, он позволял себе наслаждаться высокомерием и всезнайством. Нет, как бы ни была соблазнительна дружба с Златоустом, она была опасна, и он не смел позволить ей затрагивать суть своей жизни. Суть же его жизни, смысл ее, были в служении Духу, Слову. Спокойно, обдуманно, не помышляя о собственной выгоде, поведет он своих учеников – и не только их – к высоким духовным целям.

Уже больше года учился Златоуст в монастыре Мариабронн, уже сотни раз играл он с товарищами под липами двора и под красивым каштаном, бегал наперегонки, играл в мяч, в разбойников, в снежки; теперь была весна, но Златоуст чувствовал себя усталым и слабым, у него часто болела голова, и он с трудом заставлял себя быть бодрым и внимательным во время занятий.

Однажды вечером с ним заговорил Адольф, тот самый ученик, первое знакомство с которым когда-то закончилось потасовкой и с которым он этой зимой начал изучать Евклида. Произошло это после ужина в свободный час, когда разрешались игры в дортуарах, болтовня в классных комнатах, а также прогулки за внешним двором монастыря.

– Златоуст, – сказал он, увлекая того за собой вниз по лестнице, – я хочу тебе кое-что рассказать, нечто забавное. Правда, ты пай-мальчик и, конечно, хочешь стать епископом, так дай сначала слово товарища, что не выдашь меня учителям.

Златоуст не задумываясь дал слово. Существовала честь монастыря, существовала и ученическая честь, и обе подчас вступали в противоречие, он это знал, но, как везде, неписанные

законы сильнее писанных, и пока он был учеником, он никогда не нарушил бы законов и понятий ученической чести.

Что-то нашептывая, Адольф тащил его к portalу под деревья. Есть несколько смельчаков, рассказывал он, к которым он относил и себя и которые переняли обычай прошлых поколений время от времени вспоминать, что они ведь не монахи, а потому могут, покинув на вечерок монастырь, сходить в деревню. Это веселое приключение, от которого порядочный человек отказаться не может. Ночью же вернемся.

– Но ведь ночью ворота закрыты, – бросил Златоуст.

– Еще бы, конечно, закрыты, в этом-то и потеха. Сумеем вернуться незаметно потайным путем, не впервой.

Златоусту припомнилось: выражение «сходить в деревню» он уже слышал, под этим подразумевались ночные вылазки воспитанников ради всякого рода тайных удовольствий и приключений, и это было запрещено монастырским уставом под страхом тяжкого наказания. Он испугался. «Сходить в деревню» было грехом, запретным деянием. Но он очень хорошо понимал, что именно поэтому среди «порядочных людей» считалось честью рисковать, пренебрегая опасностью, а если кого-то приглашают участвовать в таком походе, значит, его как-то выделяют среди прочих.

Больше всего ему хотелось сказать «нет», убежать обратно и лечь спать. Он так устал и чувствовал себя таким несчастным, после обеда у него все время болела голова. Но он немного стыдился Адольфа. Да и как знать, может быть, там, за монастырскими стенами, произойдет какое-нибудь прекрасное новое событие, что-то, что заставит забыть головную боль, и тупость, и все несчастья. Это был выход в мир, правда, тайный и запретный, не совсем похвальный, но, может быть, он все-таки принесет какое-то освобождение и новые впечатления. Златоуст стоял в нерешительности, пока Адольф уговаривал его, и вдруг рассмеялся и согласился.

Незаметно скрылись они с Адольфом за липами в широком, уже темном, дворе, внешние ворота которого к этому часу были заперты. Приятель повел его к монастырской мельнице, откуда в сумерках при постоянном шуме колес легко было неслышно ускользнуть. Через окно попали они на штабель влажных скользких брусьев, один из которых нужно было вытащить, чтобы перебросить его через ручей для переправы. И вот они снаружи, на едва видной дороге, которая теряется в черном лесу. Все это волновало своей таинственностью и очень нравилось мальчику.

На опушке леса уже стоял другой приятель, Конрад, а после долгого ожидания сюда же подошел, тяжело ступая, еще один, рослый Эберхард. Вчетвером юноши зашагали через лес, над ними с шумом пролетали ночные птицы, несколько влажных звезд ярко сияли меж спокойных облаков. Конрад болтал и шутил, иногда смеялись и другие, но все-таки над ними витало жуткое и торжественное чувство ночи, и сердца их бились сильнее.

По ту сторону леса через какой-нибудь час они добрались до деревни. Там все, казалось, уже спало, бледно мерцали низкие остроконечные крыши с проступавшими темными ребрами перекрытий, нигде не видно было ни огонька. Адольф шел впереди; молча, крадучись обошли они несколько домов, перелезли через забор, очутились в саду, прошли по мягкой земле грядок, спотыкаясь о ступени, остановились перед стеной какого-то дома. Адольф постучал в ставню, подождав, постучал еще раз, внутри послышался шорох, и вскоре появился свет, ставня открылась, и один за другим они очутились в кухне с черным дымоходом и земляным полом. На плите стояла маленькая керосиновая лампа, на тонком фитиле, мигая, горело слабое пламя. Худенькая девушка, очевидно, служанка в этом крестьянском доме, возникшая перед прищельцами, подала им руку, за ней из темноты вышла вторая, совсем дитя, с длинными темными косами. Адольф принес гостинцы – полкаравая белого монастырского хлеба и что-то в бумажном кульке, – Златоуст подумал, что это немного украденного ладана, или свечного воска, или еще что-нибудь в этом роде. Та, что помоложе, с косами, вышла, без света пробра-

лась за дверь, долго отсутствовала и вернулась с кувшином из серой глины с нарисованным на нем голубым цветком и протянула его Конраду. Он отпил из него и передал дальше; все пили, это был крепкий яблочный сидр.

При слабом свете лампы они расселись, девушки на маленьких жестких табуретах, юноши вокруг них на полу. Говорили шепотом, попивая сидр, тон задавали Адольф и Конрад. Время от времени кто-нибудь вставал и гладил худенькую девушку по волосам и шее, шепча ей что-то на ухо, а младшей не трогал никто. По-видимому, думал Златоуст, старшая – служанка, а красивая малышка – дочь хозяев дома. Впрочем, все равно, его это совершенно не касается, потому что он никогда больше не придет сюда. То, что они тайно удрали и прошлись ночью по лесу, было прекрасно, необычно, волнительно, таинственно и совсем неопасно. Правда, это запрещено, но нарушение запрета не очень обременительно для совести. А вот то, что происходит здесь, этот ночной визит к девушкам, было больше чем просто запретное деяние, так он чувствовал, это был грех. Возможно, для других и это было лишь небольшим отступлением, но не для него: для него, считающего себя предназначенным к монашеской жизни и аскезе, непозволительна никакая игра с девушками. Нет, он никогда больше не придет сюда. Но сердце его билось сильно и тоскливо в полумраке убогой кухни.

Его товарищи разыгрывали перед девушками героев, щеголяя латинскими выражениями, которые вставляли в разговор. Все трое, казалось, пользовались благосклонностью служанки, время от времени они приближались к ней со своими маленькими, неловкими ласками, самой нежной из которых был робкий поцелуй. Они, видимо, точно знали, что им здесь разрешалось. А поскольку вся беседа велась шепотом, выглядело все это довольно смешно, но Златоуст воспринимал все по-своему. Он сидел на земле, неподвижно затаившись, уставившись на огонек в лампе, не говоря ни слова. Иногда жадным беглым взглядом он ловил какую-нибудь из нежностей, которыми обменивались другие. Он напряженно смотрел перед собой. Хотя больше всего ему хотелось взглянуть на младшую девушку, с косами, но именно это он запрещал себе. И всякий раз, когда его воля ослабевала и взгляд, как бы заблудившись, останавливался на привлекательном девичьем лице, он неизменно встречал ее темные глаза, устремленные на его лицо: она как замороженная смотрела на него.

Прошел, по-видимому, час – никогда еще час жизни не казался Златоусту таким долгим, – запас латинских выражений и нежностей учеников был исчерпан, стало тихо, и все сидели в смущении. Эберхард начал зевать. Тогда служанка напомнила, что пора уходить. Все поднялись, каждый подал ей руку, Златоуст – последним. Затем все подали руку младшей, Златоуст – последним. Конрад первым вылез в окно, за ним последовали Эберхард и Адольф. Когда и Златоуст вылезал, он почувствовал, что кто-то пытается удержать его за плечо. Он не смог остановиться и, только очутившись снаружи на земле, робко оглянулся. Из окна выглянула младшая, с косами.

– Златоуст! – прошептала она.

Он остановился.

– Ты придешь еще? – спросила она робко, почти беззвучно.

Златоуст покачал головой. Она протянула обе руки, взяла его голову, он почувствовал тепло маленьких рук на своих висках. Она далеко высунулась из окна, так что ее темные глаза оказались прямо перед его глазами.

– Приходи! – прошептала она, и рот ее коснулся его губ в детском поцелуе.

Он быстро побежал вслед за другими через палисадник, неуверенно наступая на грядки, вдыхая запах сырой земли и навоза, поцарапал руку о розовый куст, перелез через забор и пустился, догоняя других, прочь из деревни к лесу. «Никогда!» – приказывала его воля. «Завтра же!» – рыдая, молило несчастное сердце.

Никто не повстречался ночным гулякам, беспрепятственно вернулись они в Мариабронн, миновали ручей, мельницу, липы и обходными путями по карнизам и через разделенные колоннами окна пробрались в монастырь и в спальню.

Наутро верзилу Эберхарда долго будили тумакami – так крепок был его сон. Все вовремя успели к ранней мессе, на завтрак и в аудиторию, но Златоуст выглядел плохо, так плохо, что патер Мартин спросил, не болен ли он. Адольф бросил на него предостерегающий взгляд, и тот сказал, что здоров. На греческом, однако, около полудня, Нарцисс не упускал его из виду. Он тоже заметил, что Златоуст болен, но промолчал, продолжая внимательно наблюдать за ним. В конце урока он подозвал его к себе. Чтобы не привлекать внимания учеников, он отправил его с поручением в библиотеку. И пришел туда же сам.

– Златоуст, – сказал он, – нужна ли тебе моя помощь? Я вижу, тебе плохо. Может, ты болен. Ложись-ка в постель, получишь больничный суп и стакан вина. Тебе сегодня было не до греческого.

Долго ждал он ответа. Смущенно взглянул на него бледный мальчик, опустил голову, поднял опять, губы его вздрогнули, он хотел говорить и не смог. Вдруг он опустился рядом, положив голову на пульт для чтения, между двумя маленькими головками ангелов из дуба, державших пульт, и разразился такими рыданиями, что Нарцисс почувствовал себя неловко и на какое-то время отвел взгляд, прежде чем подхватил и поднял плачущего.

– Ну, ну, – сказал он тем дружелюбным тоном, каким, насколько мог вспомнить Златоуст, он никогда не говорил, – ну и хорошо, дружок, поплачь, тебе станет легче. Вот так, садись, можешь ничего не говорить. Ты, я вижу, натерпелся, – видимо, все утро старался держаться и не подавать виду. Молодец! А теперь поплачь, это лучше всего. Нет? Уже все? Опять все в порядке? Ну и славно, тогда пойдем в больничную палату и ложись в постель. Сегодня же вечером тебе станет намного лучше. Пойдем же!

И он провел его в больничную палату в обход ученических комнат, указал на одну из двух пустых кроватей и, когда Златоуст начал послушно раздеваться, вышел, чтобы доложить настоятелю о его болезни. На кухне он попросил для него, как обещал, суп и стакан вина; оба эти благотворные деяния, принятые в монастыре, очень нравились большинству легких больных.

Лежа в больничной постели, Златоуст пытался оправиться от смятения. Час тому назад он, пожалуй, был бы в состоянии объяснить себе, что было причиной сегодняшней столь невыразимой усталости, что это было за смертельное перенапряжение души, опустошившее его голову и заставившее расплакаться. Это было насильственное, каждую минуту возобновлявшееся и каждую минуту терпевшее неудачу стремление забыть вчерашний вечер – даже не вечер, не безрассудную и прелестную вылазку из запертого монастыря, не прогулку по лесу, не скользкий мостик через мельничный ручей или перелезание через заборы, окна и проходы, но единственный момент у темного окна кухни: дыхание и слова девушки, прикосновение ее рук, поцелуй ее губ.

А теперь к этому прибавлялся еще новый страх, новое переживание. Нарцисс принял в нем участие, Нарцисс любил его, Нарцисс позаботился о нем – он, изысканный, благородный, умный, с тонким, слегка насмешливым ртом. А он, он распустился перед ним, стоял, пристыженный и заикающийся, и наконец разревелся! Вместо того чтобы завоевать этого превосходящего всех во всем человека самым благородным оружием – греческим, философией, духовными подвигами и достойным стоицизмом, он жалко и ничтожно провалился! Никогда он себе этого не простит, никогда не сможет смотреть ему без стыда в глаза.

Однако слезы сняли напряжение, спокойное одиночество и добрая постель подействовали благотворно, отчаяние наполовину потеряло свою силу. Прошло немного времени, и появился прислуживающий брат, принес мучной суп, кусочек белого хлеба и небольшой бокал красного вина, который ученики обычно получали только по праздникам. Златоуст поел и

выпил, съел полтарелки, оставил, принялся опять размышлять, но ничего не вышло: он опять пододвинул тарелку, съел еще несколько ложек. И когда немного спустя дверь тихо отворилась и вошел Нарцисс, чтобы проведать больного, тот уже спал и румянец опять появился на его щеках. Долго смотрел на него Нарцисс с любовью, с пытливым любопытством и немного с завистью. Он видел: Златоуст нуждался в нем, пусть нынче ему понадобились его услуги, в другой раз, возможно, он сам окажется слабым и будет нуждаться в помощи и участии. И от этого мальчика он их примет, если дело дойдет до того.

Глава третья

Странная это была дружба, что началась между Нарциссом и Златоустом: лишь немногим пришло по душе, а иногда могло показаться, что им самим дружба эта не очень нравится.

Нарциссу, мыслителю, поначалу приходилось особенно трудно. Для него все было духовно, даже любовь; ему не дано было бездумно отдаваться чувству. Он был в этой дружбе ведущей силой и долгое время оставался единственным, кто осознал судьбу, глубину и смысл этой дружбы. Долгое время он оставался одинок в самый разгар любви, зная, что друг только тогда будет действительно принадлежать ему, когда он будет руководить его познанием. Искренне и пылко, легко и безотчетно отдавался Златоуст новой жизни. Сознательно и ответственно принимал высокий жребий Нарцисс.

Для Златоуста это было прежде всего спасение и выздоровление. Его юношескую потребность в любви, только что властно разбуженную взглядом и поцелуем красивой девушки, тотчас же вспугнули и лишили всякой надежды. Ибо в глубине души он чувствовал, что все его прежние мечты о жизни, все, во что он верил, все, к чему считал себя предназначенным и призванным, в основе своей подвергли опасности тот поцелуй в окне и взгляд тех темных глаз. Предназначенный отцом к монашеской жизни, всей волей принимая это предназначение, с юношеским пылом отдаваясь набожности и аскетически-героическому идеалу, он при первой же беглой встрече, при первом же пробуждении чувств, при первом зове женского начала почувствовал, что здесь его неизбежный враг и демон, что в женщине для него таится опасность. И вот судьба послала ему спасение, в самую трудную минуту явилась эта дружба, представляя его душевной потребности цветущий сад, его благоговению – новый алтарь. Здесь ему разрешалось любить, разрешалось без греха отдавать себя, дарить свое сердце достойному восхищения, старшему, умному другу, превратить, одухотворяя, опасное пламя чувств в благородный жертвенный огонь.

Но в первую же весну этой дружбы он столкнулся со странными препятствиями, с неожиданным, загадочным охлаждением, пугающей требовательностью. Ведь ему и в голову не приходило считать друга полной себе противоположностью. Ему казалось, что для того, чтобы из двоих сделать одно, сгладить различия и снять противоречия, нужна только любовь, только искренняя самоотверженность. Но как строг и тверд, умен и непреклонен был этот Нарцисс! Казалось, ему незнакомы и нежелательны невинная самоотдача, благодарное странствие вдвоем по стране дружбы. Казалось, он не ведает и не терпит путей без цели, мечтательных блужданий. Правда, когда он счел Златоуста больным, он проявил заботу о нем; правда, он был верным помощником и советчиком ему во всех учебных и ученых делах, объяснял трудные места в книгах, учил разбираться в тонкостях грамматики, логики, теологии; но, казалось, он никогда не был по-настоящему доволен другом и согласен с ним, а зачастую даже можно было подумать, что он посмеивается над ним, не принимает его всерьез. Златоуст, правда, чувствовал, что это не просто наставничество, не просто важничание более старшего и более разумного, что за этим кроется что-то более глубокое, более важное. Понять же это более глубокое он был не в состоянии, и нередко дружба повергала его в печаль и растерянность.

В действительности Нарцисс прекрасно знал, что представлял собой его друг, он не мог не замечать ни его цветущей красоты, ни его естественной силы жизни и яркой полноты чувств. И он ни в коей мере не был наставником, который хотел питать пылкую юную душу греческим, отвечать на невинную любовь логикой. Слишком сильно любил он белокурого юношу, а для него это было опасно, потому что любовь была для него не естественным состоянием, а чудом. Он не смел влюбляться, не смел пользоваться приятным созерцанием этих красивых глаз, близостью этого цветущего, светлого белокурого создания, не смел позволить этой любви хотя бы на мгновение задержаться на уровне чувственного. Потому что если Златоуст считал

себя предназначенным быть монахом и аскетом и всю жизнь стремиться к святости, Нарцисс действительно был предназначен для такой жизни. Ему была позволена любовь только в единственной, высшей форме. В предназначение же Златоуста к жизни аскета Нарцисс не верил. Яснее, чем кто-либо другой, он умел читать в душах людей, а тут, когда он любил, он читал с особой ясностью. Он видел сущность Златоуста, которую глубоко понимал, несмотря на противоположность их натур. Он видел эту сущность, покрытую твердым панцирем фантазий, ошибок в воспитании, слов отца, и давно разгадал несложную тайну этой молодой жизни. Его задача была ему ясна: раскрыть эту тайну самому ее носителю, освободить его от панциря, вернуть его собственной природе. Это будет нелегко, но самое трудное в том, что из-за этого он, возможно, потеряет друга.

Бесконечно медленно приближался он к цели. Месяцы прошли, прежде чем стало возможно первое наступление, серьезный разговор между обоими. Так далеки были они друг от друга, несмотря на дружбу, так велико было разделявшее их расстояние. Зрячий и слепой, так и шли они рядом, и то, что слепой ничего не знал о своей слепоте, лишь облегчало его участь.

Первым пробил брешь Нарцисс, постаравшийся разузнать о том переживании, которое подтолкнуло к нему в трудную минуту потрясенного мальчика. Сделать это оказалось легче, чем он предполагал. Давно уже чувствовал Златоуст потребность исповедаться в переживаниях той ночи; однако никому, кроме настоятеля, он не доверял вполне, а настоятель не был его духовником. Когда же Нарцисс как-то в подходящий момент напомнил другу о начале их союза и осторожно коснулся тайны, тот без обиняков сказал:

– Жаль, что ты еще не рукоположен и не можешь выслушивать исповеди, я охотно освободился бы от того потрясения, исповедовавшись и искупив наказанием свою вину. Но своему духовнику я не могу это рассказать.

Осторожно, не без хитрости продвигался Нарцисс дальше по найденному следу.

– Помнишь, – осторожно завел он разговор, – то утро, когда ты вроде бы заболел. Ты ведь не забыл его, тогда мы стали друзьями. Я часто думал о нем. Может быть, ты и не заметил, что я чувствовал себя совершенно беспомощным.

– Ты – беспомощным? – воскликнул друг недоверчиво. – Но ведь беспомощным был я! Ведь это я не был в состоянии вымолвить ни слова и в конце концов расплакался, как ребенок! Фу, до сих пор стыдно! Я думал, что никогда больше не смогу смотреть тебе в глаза. Ты видел меня таким жалким, таким слабым!

Нарцисс продолжал нащупывать дальше.

– Я понимаю, – сказал он, – что тебе это было неприятно. Такой крепкий и смелый парень, как ты, и вдруг плачет перед посторонним человеком, да еще учителем, тебе это действительно не пристало. Ну, тогда-то я счел тебя больным. А уж если бьет лихорадка, то сам Аристотель поведет себя странно. Но оказалось, что ты вовсе не болен! Не было никакой лихорадки! И поэтому-то ты и стыдился. Никто ведь не стыдится, что его треплет лихорадка, не так ли? Ты стыдился, потому что не смог противиться чему-то другому. Что-то другое потрясло тебя. Произошло что-нибудь особенное?

Златоуст немного поколебался, затем медленно произнес:

– Да, произошло нечто особенное. Позволь считать тебя моим духовником, нужно же когда-нибудь об этом сказать.

С опущенной головой он рассказал другу историю той ночи.

В ответ на это Нарцисс, улыбаясь, сказал:

– Ну конечно, «ходить в деревню» запрещено. Но ведь многое из запрещенного можно делать, а затем посмеиваться над этим или же исповедаться – и дело с концом, все позади. Почему же и ты не мог совершить маленькую глупость, как это делает чуть ли не каждый ученик? Разве это так уж дурно?

Златоуст не мог сдержать свой гнев.

– Ты говоришь действительно как школьный учитель! – вспыхнул он. – Ты ведь прекрасно знаешь, о чем идет речь! Разумеется, я не вижу большого греха в том, чтобы разок нарушить правила и принять участие в мальчишеской проделке, хотя это, пожалуй, и нельзя считать достойной подготовкой к монашеской жизни.

– Постой! – воскликнул Нарцисс резко. – Разве ты не знаешь, друг, что для многих благочестивых отцов именно такая подготовка была необходима? Не знаешь, что один из самых коротких путей к святой жизни – как раз жизнь распутника?

– Ах, оставь! – возразил Златоуст. – Я хотел сказать: не легкое непослушание тяготило мою совесть. Это было нечто другое. Это была девушка. Это было чувство, которое я не могу тебе описать! Чувство, что, если я поддамся соблазну, если только протяну руку, чтобы коснуться девушки, я уже никогда больше не смогу вернуться назад. Что грех, как адская бездна, поглотит меня и никогда не отпустит. Что с этим кончатся все прекрасные мечты, все добродетели, вся любовь к Богу и добру.

Нарцисс кивнул в глубокой задумчивости.

– Любовь к Богу, – сказал он медленно, подыскивая слова, – и любовь к добру не всегда едины. Ах, если бы это было так просто! Что хорошо, мы знаем из заповедей. Но Бог не только в заповедях, пойми, они лишь малая часть Его. Ты можешь исполнять заповеди и быть далеко от Бога.

– Неужели ты меня не понимаешь! – жалобно воскликнул Златоуст.

– Конечно, я понимаю тебя. Женщина, пол связываются у тебя с понятием мирской жизни и греха. На все другие грехи, как тебе кажется, ты или неспособен, или, если даже совершишь их, они не будут настолько угнетать тебя, в них можно исповедаться и освободиться от них. Только от одного этого греха не освободишься.

– Правильно, именно так я чувствую.

– Как видишь, я тебя понимаю. Да ты не так уж и не прав; по-видимому, история о Еве и змие вовсе не плод досужего вымысла. И все-таки ты не прав, дорогой. Ты был бы прав, если бы был настоятелем Даниилом или Хризостомом¹, твоим святым, если бы ты был епископом, или священником, или даже всего лишь простым монахом. Но ведь ты не являешься ни одним из них. Ты ученик, и если даже желаешь навсегда остаться в монастыре или это желает за тебя отец, то ведь обета ты еще не дал, посвящения не получил. И если сегодня или завтра тебя совертит красивая девушка и ты поддашься искушению, то не нарушишь никакой клятвы, никакого обета.

– Никакого писаного обета! – воскликнул Златоуст в большом волнении. – Но неписанный, самый святой, который ношу в себе, будет нарушен! Неужели ты не видишь: то, что годится для многих других, не годится для меня? Ведь ты сам тоже еще не получил посвящения, не дал обета, но ведь ты никогда не позволишь себе коснуться женщины! Или я ошибаюсь? Ты не таков? Ты совсем не тот, за кого я тебя принимаю? Разве ты не дал себе клятву, хотя и не словами и не перед вышестоящими, а в сердце, и разве не чувствуешь себя из-за нее навеки обязанным? Разве мы с тобою не едины?

– Нет, Златоуст, не едины, я не таков, каким ты меня видишь. Правда, и я принял молчаливый обет, в этом ты прав. Но мы с тобою совсем не едины. Я скажу тебе сегодня кое-что, а ты подумай. Вот что я скажу тебе: наша дружба вообще не имеет никакой другой цели и никакого другого смысла, кроме как показать тебе, насколько ты не похож на меня.

Златоуст стоял пораженный: Нарцисс говорил с таким видом и таким тоном, что возражать ему было нельзя. Но почему Нарцисс произносит такие слова? Почему молчаливый обет Нарцисса был более свят, чем у него, Златоуста? Принимал ли Нарцисс его вообще всерьез, не

¹ По-гречески имя Златоуст звучит как Хризостом. Святой Иоанн Златоуст (ок. 350–407) – константинопольский патриарх, знаменитый проповедник, автор множества богословских трудов, а также Божественной литургии.

считал ли всего лишь ребенком? Новые замешательства и трудности приносила эта странная дружба.

Нарцисс больше не сомневался в природе тайны Златоуста. За этим стояла Ева, прама-терь. Но как же могло получиться, что в таком красивом, здоровом, таком цветущем юноше пробуждающийся пол встретил столь ожесточенную вражду? Должно быть, тут действовал дьявол, тайный враг, которому удалось разьединить изнутри этого человека и раздвоить его изначальные влечения. Итак, дьявола нужно найти, обнаружить и изгнать, тогда он будет побежден.

Между тем товарищи все больше и больше избегали Златоуста и оставляли его, или, вернее, они чувствовали, что он оставлял их и в какой-то мере им изменял. Никому не нравилась его дружба с Нарциссом. Злые ославили ее противоестественной, именно те, кто сам был влюблен в одного из обоих юношей. Но и другие, убежденные, что здесь нет ничего порочного, качали головами. Никто не желал, чтобы эти двое были вместе, этот союз, казалось, отделял их, как высокомерных аристократов, от остальных, бывших для них недостаточно хорошими; это было не по-товарищески, это было не по-монастырски, это было не по-христиански.

Кое-что об обоих доходило до слуха настоятеля Даниила – толки, жалобы, сплетни. Много дружеских союзов юношей повидал он за сорок с лишним лет монастырской жизни, они входили в картину бытия монастыря, были милым дополнением, иногда забавой, иногда опасностью. Он держался в стороне, зорко следя, но не вмешиваясь. Дружба такой силы и исключительности была редкостью, без сомнения – она была небезопасной; но так как он ни секунды не сомневался в ее чистоте, то предоставил делу идти своим чередом. Если бы Нарцисс не был на особом положении среди учеников и учителей, настоятель не задумываясь отдал бы какие-то распоряжения, которые способствовали бы их разъединению. Нехорошо, что Златоуст сторонится соучеников и поддерживает близкие отношения только со старшим, да еще учителем. Но можно ли мешать Нарциссу, необыкновенному, высокоодаренному, которого все учителя считали не только равным себе духовно, но даже превосходящим их в выбранном деле, и лишить его деятельности учителя? Если бы Нарцисс перестал оправдывать себя как учитель, если бы их дружба привела его к нерадивости или предвзятости, он не задумываясь отстранил бы его. Однако ничто не свидетельствовало против него, ничего не было, кроме кривотолков, ничего, кроме ревнивого недоверия других.

Помимо того, настоятель знал об особом даре Нарцисса, о его удивительно проникновенном – возможно, несколько самонадеянном – знании людей. Он не придавал особого значения этому дару, другие способности Нарцисса больше радовали бы его, но он не сомневался, что Нарцисс чувствовал особенный характер ученика Златоуста и знал его куда лучше, чем он сам или кто-либо другой. Он, настоятель, не замечал в Златоусте, помимо его подкупающей прелести, ничего, кроме явно преждевременного, даже несколько не по годам развитого усердия, с которым тот уже теперь, будучи лишь учеником и гостем, кажется, чувствует себя принадлежащим монастырю и уже почти братом. Что Нарцисс будет поощрять и подогревать это трогательное, но незрелое усердие, не страшно. Беспокоиться можно скорее о том, что друг заразит его некоторым духовным самомнением и ученым высокомерием; но что касается Златоуста, именно его, опасность казалась не столь великой; в этом смысле можно, пожалуй, ничего не предпринимать. Когда он думал о том, насколько проще, покойнее и удобнее быть настоятелем у заурядных людей, то одновременно вздыхал и улыбался. Нет, он не хотел заражаться недоверием, не хотел быть неблагодарным судьбе, вверившей ему две исключительные человеческие натуры.

Нарцисс много думал о своем друге. Его способность видеть и распознавать сущность и предназначение человека помогала ему разобраться в Златоусте. Лучезарная живость этого юноши явно свидетельствовала о том, что он был отмечен всеми знаками сильного, богато одаренного чувствами человека глубокой души, возможно, художника, во всяком случае – человека огромной силы любви, предназначение и счастье которого состояло в том, чтобы вос-

пламеняться чувством и отдаваться ему. Почему же этот человек любви, человек тонких и богатых чувств, который так глубоко наслаждался ароматом цветов, утренним солнцем, любил своего коня, восхищался полетом птиц, музыкой, почему он был одержим идеей стать духовным лицом и аскетом? Нарцисс много размышлял об этом. Он знал, что отец Златоуста поощрял эту одержимость. А не мог ли он ее нарочно вызвать? Какими чарами околдовал он сына, что тот поверил в такое предназначение и долг? Что за человек был этот отец? Хотя Нарцисс намеренно часто заводил о нем разговор и Златоуст немало рассказывал об отце другу, тот все-таки не мог представить себе этого человека, не мог увидеть его. Разве это не было странно, не было подозрительно? Когда Златоуст говорил о форели, которую ловил мальчиком, когда описывал бабочку, подражал крику птицы, рассказывал о товарище, о собаке или нищем, то возникали картины, что-то виделось. Когда же он говорил о своем отце, не виделось ничего. Нет, если бы этот отец был действительно таким важным, сильным, влиятельным лицом в жизни Златоуста, тот иначе описывал бы его! Нарцисс был невысокого мнения об этом человеке, он не нравился ему; он даже подчас сомневался: а был ли он действительно отцом Златоуста? Он казался каким-то пустым идолом. Но откуда же у него была эта власть? Как же он сумел наполнить душу Златоуста мечтаниями, столь чуждыми ее сути?

Златоуст тоже много размышлял. Как ни глубоко чувствовал он сердечную любовь своего друга, у него все время было тягостное чувство, что тот принимает его недостаточно всерьез и обращается с ним почти как с ребенком. А к чему это друг постоянно дает ему понять, что они с ним не едины?

Между тем эти размышления не заполняли дня Златоуста целиком. Долго размышлять он вообще не любил. Было много других занятий в течение длинного дня. Он часто пропадал у брата-привратника, с которым был в очень хороших отношениях. Хитростью и уговорами всегда добивался разрешения часок-другой поскакать на Блессе; его очень полюбили и другие работники, жившие при монастыре, к примеру в доме у мельника; частенько с его работником они подстерегали выдру или пекли лепешки из тонкой прелатской муки, которую Златоуст из всех сортов мог определить с закрытыми глазами, только по запаху. Хотя он и много времени проводил с Нарциссом, оставалось все-таки немало часов для того, чтобы предаваться своим давним привычкам и радостям. Церковная служба тоже была для него по большей части радостью: он охотно пел в ученическом хоре, любил читать молитвы по четкам перед любимым алтарем, слушал прекрасную, торжественную латынь мессы, смотрел сквозь клубы ладана на сверкающую золотом утварь и убранство, на спокойные, почтенные фигуры святых, стоящих на колоннах, на евангелистов с животными, на Иакова в шляпе и с сумкой паломника.

Эти каменные и деревянные фигуры влекли его, они представлялись ему таинственным образом связанными с его личностью, казались чем-то вроде бессмертных всеведающих крестных отцов, заступников и руководителей его жизни. Точно так же чувствовал он тайную, дивную, проникнутую любовью связь с колоннами и капителями окон и дверей, орнаментом алтарей, с этими четко очерченными опорами и венками, цветами и бурно разросшимися листьями, так выразительно обрамлявшими каменные колонны. Ему казалось драгоценной, сокровенной тайной, что, кроме природы, ее растений и животных, была еще эта вторая, немая, созданная людьми природа, эти люди, животные и растения из камня и дерева. Нередко он проводил время, срисовывая эти фигуры, головы животных и пучки листьев, а иногда пытаясь рисовать и настоящие цветы, лошадей, лица людей.

И еще он очень любил церковные песнопения, особенно посвященные Деве Марии. Он любил четкий строгий ход этих мелодий, постоянно повторяющиеся мольбы и восхваления. Он молитвенно следовал их почтительному смыслу или же, забывая о смысле, лишь любовался торжественными размерами этих стихов, наполняя ими душу, их растянутыми глубокими звуками, полнозвучными гласными, благочестивыми повторами. В глубине души он любил не ученость, не грамматику и логику, хотя и в них была красота, а мир образов и звуков литургии.

Все снова и снова он ненадолго прерывал также возникшее между ним и соучениками отчуждение. Ему было неприятно и скучно подолгу чувствовать себя отверженным, окруженным холодностью; он то смешил ворчливого соседа по парте, то заставлял болтать молчаливого соседа в дортуаре, за час-другой добивался наконец своего и отвоевывал на какое-то время несколько глаз, несколько лиц, несколько сердец. Два раза из-за такого потепления в отношениях он, совершенно того не желая, был приглашен «сходить в деревню». Тут он пугался и быстро отступал. Нет, в деревню он больше не ходил, и ему удалось забыть девушку с косами, никогда не вспоминать о ней или, вернее, почти никогда.

Глава четвертая

Долго оставались тщетными попытки Нарцисса, осаждавшего Златоуста, раскрыть его тайну. Долго казались напрасными его старания пробудить друга, научить его языку, на котором можно было бы сообщить эту тайну. Из того, что тот рассказывал ему о своем происхождении и родине, картины не получалось. Был смутный, бесформенный, но почитаемый отец да легенда о давно пропавшей или погибшей матери, от которой не осталось ничего, кроме имени. Постепенно Нарцисс, умело читавший в душах, понял, что его друг относится к людям, у которых утрачена часть их жизни и которые под давлением какой-то необходимости или колдовства вынуждены были забыть часть своего прошлого. Он понял, что простые расспросы и поучения здесь бесполезны, он видел также, что чересчур полагался на силу рассудка и много говорил понапрасну.

Но не напрасна была любовь, связывавшая его с другом, и привычка к постоянному общению. Несмотря на глубокое различие своих натур, оба многому научились друг у друга; у них наряду с языком рассудка постепенно возник язык души и знаков, подобно тому как между двумя поселениями, помимо дороги, по которой ездят кареты и скачут рыцари, возникает много придуманных, обходных, тайных дорожек: дорожка для детей, тропа влюбленных, едва заметные ходы собак и кошек. Постепенно одухотворенная сила воображения Златоуста какими-то магическими путями проникала в мысли и язык друга, и тот научился у Златоуста понимать и сочувствовать без слов. Медленно вызревали в свете любви новые связи между обеими душами, лишь потом приходили слова. Так однажды, в свободный от занятий день, в библиотеке, неожиданно для обоих, меж друзьями состоялся разговор – разговор, который коснулся самой сути их дружбы и многое осветил новым светом.

Они говорили об астрологии, которой не занимались в монастыре: она была там запрещена. Нарцисс сказал, что астрология – это попытка внести порядок и систему во все многообразие характеров, судеб и предопределений людей. Тут Златоуст вставил:

– Ты постоянно говоришь о различиях – постепенно я понял, что это твоя самая главная особенность. Когда ты говоришь о большой разнице между тобой и мной, например, то мне кажется, что она состоит не в чем ином, как в твоём странном и страстном желании вечно искать различия!

Нарцисс. Правильно, ты попал в самую точку. В самом деле: для тебя различия не очень важны, мне же они кажутся единственно важными. Я по сути своей ученый, мое предназначение – наука. А наука – цитирую тебя – действительно не что иное, как «страстное желание вечно искать различия»! Лучше нельзя определить ее суть. Для нас, людей науки, нет ничего важнее, чем устанавливать различия, наука – это искусство различения. Например, найти в человеке признаки, отличающие его от других, – значит по-настоящему его познать.

Златоуст. Ну да. На одном крестьянские башмаки – он крестьянин, на другом корона – он король. Это, конечно, различия. Но они видны и детям, без всякой науки.

Нарцисс. Но если крестьянин и король одеты одинаково, ребенок уже не различит их.

Златоуст. Да и наука тоже.

Нарцисс. А может быть, все-таки различит. Она, правда, не умнее ребенка, это следует признать, но она терпеливее, она замечает не только самые общие признаки.

Златоуст. Любой умный ребенок делает то же самое. Он узнает короля по взору или манере держаться. А говоря короче, вы, ученые, высокомерны, вы всегда считаете нас, других, глупее. Можно без всякой науки быть очень умным.

Нарцисс. Меня радует, что ты начинаешь это понимать. А скоро ты поймешь также, что я не имею в виду ум, когда говорю о различии между тобой и мной. Я ведь не говорю: ты умнее или глупее, лучше или хуже. Я говорю только: ты – другой.

Златоуст. Это нетрудно понять. Но ты говоришь не только о различиях в признаках, ты часто говоришь о различиях в судьбе, предназначении. Почему, например, у тебя должно быть иное предназначение, чем у меня? Ты, как и я, христианин, ты, как и я, решил жить в монастыре, ты, как и я, сын нашего доброго Отца на небесах. У нас одна и та же цель: вечное блаженство. У нас одно и то же предназначение: возвращение к Богу.

Нарцисс. Очень хорошо. По учебнику догматики, один человек и впрямь точно такой же, как другой, а в жизни нет. Мне кажется, любимый ученик Спасителя, на чьей груди Он отдыхал, и другой ученик, который Его предал, имели, пожалуй, не одно и то же предназначение.

Златоуст. Ты просто софист, Нарцисс! Таким путем мы не приблизимся друг к другу.

Нарцисс. Мы никаким путем друг к другу не приблизимся.

Златоуст. Не говори так!

Нарцисс. Я говорю серьезно. Наша задача состоит не в том, чтобы приближаться друг к другу, как не приближаются друг к другу солнце и луна, море и суша. Наша цель состоит не в том, чтобы один из нас переходил в другого, а в том, чтобы он его узнал, видел и уважал в нем то, что он есть: противоположность и дополнение его самого.

Пораженный Златоуст опустил голову, лицо его стало печальным. Наконец он сказал:

– Поэтому ты так часто не принимаешь мои мысли всерьез?

Нарцисс помедлил немного с ответом. Затем сказал ясным, твердым голосом:

– Поэтому. Ты должен приучить себя, милый Златоуст, к тому, что всерьез я принимаю только тебя самого.

Верь мне, я принимаю всерьез каждый звук твоего голоса, каждый твой жест, каждую твою улыбку. А твои мысли... К ним я отношусь менее серьезно. Я принимаю всерьез в тебе то, что считаю существенным и неизбежным. Почему ты придаешь такое большое значение именно своим мыслям, когда у тебя столько других дарований?

Златоуст горько улыбнулся:

– Я же говорил, ты всегда считал меня ребенком!

Нарцисс оставался непреклонным:

– Некоторые твои мысли я считаю детскими. Вспомни, мы только что говорили, что умный ребенок совсем не глупее ученого. Но если ребенок будет рассуждать о науке, ученый ведь не примет это всерьез.

Златоуст горячо возразил:

– Да даже если мы говорим не о науке, ты подсмеиваешься надо мной! У тебя, например, всегда получается так, что моя набожность, мое старание продвигаться в учебе, мое желание быть монахом всего лишь ребячество!

Нарцисс серьезно посмотрел на него:

– Я принимаю тебя всерьез, когда ты Златоуст. А ты не всегда Златоуст. Мне же хочется, чтобы ты целиком и полностью стал Златоустом. Ты – не ученый, ты – не монах, ученого или монаха можно сделать и не из такого добротного материала. Ты думаешь, что, по мне, ты слишком мало учен, недостаточно силен в логике или не очень набожен. О нет, но, по-моему, ты слишком мало являешься самим собой.

Хотя после этого разговора Златоуст, озадаченный и даже уязвленный, и замкнулся в себе, уже через несколько дней он сам почувствовал потребность продолжить его. На этот раз Нарциссу удалось так представить ему различия их натур, что он принял их более благосклонно.

Нарцисс говорил мягко, чувствуя, что сегодня Златоуст более открыто и охотно принимал его доводы и покорялся ему. Под влиянием успеха, увлеченный собственными словами, Нарцисс поведал больше, чем намеревался.

– Видишь ли, – сказал он, – я только в одном превосхожу тебя: я бодрствую, тогда как ты бодрствуешь лишь наполовину, а иногда и совсем спишь. Бодрствующим я называю того, кто

понимает и осознает себя, свои самые глубокие внерассудочные силы, влечения и слабости и умеет принимать их в расчет. То, что ты этому учишься, придает смысл твоей встрече со мной. У тебя, Златоуст, дух и натура, сознание и грезы очень далеки друг от друга. Ты забыл свое детство, из глубины твоей души оно пробивается к тебе. Оно будет заставлять тебя страдать до тех пор, пока ты не услышишь его. Ну да хватит об этом! В бодрствовании, как я сказал, я сильнее тебя, здесь я превосхожу тебя и могу поэтому быть тебе полезен. Во всем остальном, милый, ты превосходишь меня или, вернее, будешь меня превосходить, когда найдешь сам себя.

Златоуст с удивлением слушал, но при словах «ты забыл свое детство» вздрогнул, как стрелой пораженный, но Нарцисс не заметил этого, так как, по своему обыкновению, говорил с закрытыми глазами или глядя перед собой, как будто так было легче подбирать слова. Он не видел, как лицо Златоуста передернулось и как он побледнел.

– Превосхожу... я – тебя! – заикаясь произнес Златоуст, только чтобы хоть что-то сказать: он весь как бы оцепенел.

– Конечно, – продолжал Нарцисс, – натуры, подобные твоей, с сильными и нежными чувствами, одухотворенные, мечтатели, поэты, любящие, почти всегда превосходят нас, живущих в другом мире, нас, людей Духа. У вас происхождение материнское. Вы живете в полноте, вам дана сила любви и переживания. Мы, люди Духа, хотя часто как будто и руководим и управляем вами, не живем в полноте, мы живем сухо. Вам принадлежит богатство жизни, сок плодов, сад любви, прекрасная страна искусства. Ваша родина – земля, наша – идея. Вы рискуете потонуть в чувственном мире, мы – задохнуться в безвоздушном пространстве. Ты – художник, я – мыслитель. Ты спишь на груди матери, я бодрствую в пустыне. Мне светит солнце, тебе – луна и звезды, твои мечты принадлежат девушкам, мои – юношам...

С широко открытыми глазами слушал Златоуст, как говорил Нарцисс, упоенный собственной речью. Некоторые из его слов вонзались в Златоуста подобно мечам; при последних словах он побледнел и закрыл глаза, а когда Нарцисс это заметил и испуганно замолчал, его друг, чрезвычайно бледный, угасшим голосом проговорил:

– Однажды случилось, что я показал тебе свою слабость и плакал, – ты помнишь. Такое больше не повторится, я никогда себе этого не прощу... Но и тебе тоже! А теперь быстро уходи и оставь меня одного, ты сказал мне ужасные слова.

Нарцисс был очень смущен. Собственные слова увлекли его, у него было чувство, что он только что говорил лучше, чем когда-либо. Теперь он в замешательстве видел, что какие-то его слова глубоко потрясли друга, в чем-то задели его за живое. Ему было трудно оставить юношу одного в этот момент, он помедлил какие-то мгновения, но нахмуренный лоб Златоуста заставил его поспешить, и в смятении он удалился, все же оставив друга в одиночестве, в котором тот так нуждался.

На этот раз перенапряжение в душе Златоуста разрешилось не слезами. С чувством глубокой и неизлечимой раны, как будто друг неожиданно всадил ему нож прямо в грудь, стоял он, тяжело дыша, со смертельно сжавшимся сердцем, с бледным как воск лицом, с онемевшими руками. Это было то же ужасное состояние, какое он пережил тогда, только в несколько раз сильнее: опять что-то давило внутри, приказывая посмотреть в глаза чему-то страшному, чему-то прямо-таки невыносимому. Но на этот раз облегчающие слезы не могли помочь вынести ужас. Пресвятая Богородица, что же это такое? Что же произошло? Его убили? Он убил? Что же такого страшного было сказано?

С трудом переводя дыхание, он, как отравленный, рвался освободиться от чего-то смертельного, что застряло глубоко внутри него. Он бросился вон из комнаты, двигаясь так, словно переправлялся в другой ее конец вплавь, ища спасение в самых тихих, самых безлюдных уголках монастыря, мчался через переходы, по лестницам, на волю, на воздух. Он попал в самое укромное убежище монастыря – обходную галерею; над зелеными клумбами сияло ясное сол-

нечное небо, сквозь прохладный воздух каменного подвала слегка пробивался сладкий аромат роз.

Сам того не подозревая, Нарцисс сделал в этот час то, чего страстно желал уже давно: он назвал по имени дьявола, которым был одержим его друг, он его определил. Какое-то из его слов коснулось тайны в сердце Златоуста, и оно восстало в неистовой боли. Долго бродил Нарцисс по монастырю в поисках друга, но так и не нашел его.

Златоуст стоял под одной из круглых тяжелых арок, которые вели из переходов в садик, с каждой колонны на него уставилось по три каменных головы животных – собак или волков. Страшно ныла в нем рана, не находившая выхода к свету, выхода к разуму. Смертельный страх перехватил горло и живот. Машинально подняв взор, он увидел над собой одну из капителей колонны с тремя головами животных, и ему тотчас пришло в голову, что эти три дикие головы сидели, глазели, лаяли у него внутри.

«Сейчас я умру», – подумал он в ужасе. И сразу затем, дрожа от страха, предрек себе: «Сейчас я потеряю рассудок, сейчас меня сожрут эти звери». Затрепетав, он опустился у подножия колонны, боль была слишком велика: она достигла крайнего предела. Нахлынула слабость, и он, с опущенным лицом, погрузился в желанное небытие.

У настоятеля Даниила выдался неприятный день: двое пожилых монахов пришли к нему сегодня, возбужденно бранясь и осыпая друг друга упреками, опять вспомнили застарелые мелочные ссоры. Он их выслушивал слишком долго, увещевал, однако безуспешно, в конце концов отпустил, наложив довольно суровое наказание, но в душе осталось ощущение, что действия его были бесполезны. Обессиленный, он уединился в капелле нижней церкви, молился, но, не получив облегчения, встал с колен. И вот, привлеченный легким ароматом роз, он вышел на обходную галерею подышать свежим воздухом. Тут он нашел ученика Златоуста, лежавшего без сознания на каменных плитах. С грустью взглянул он на него, напуганный мертвенной бледностью его всегда такого красивого юного лица. Недобрый сегодня день, теперь еще и это! Он попытался поднять юношу, но ноша была ему не по силам. Глубоко вздохнув, он пошел прочь, старый человек, чтобы велеть двум братьям помоложе отнести Златоуста наверх, и послал к нему патера Ансельма, который был известен как врачеватель. Одновременно он послал за Нарциссом; молодого человека нашли быстро, и тот явился к настоя- телю.

– Ты уже знаешь? – спросил его отец Даниил.

– О Златоусте? Да, досточтимый отец, я только что слышал, что он заболел или пострадал от несчастного случая, его принесли.

– Да, я нашел его лежащим на обходной галерее, ему, собственно, там нечего было делать. Это не несчастный случай. Он был без сознания. Это мне не нравится. Мне кажется, ты как-то причастен к этому делу или хотя бы что-то знаешь, – ведь он твой ближайший друг. Поэтому я и позвал тебя. Говори!

Нарцисс, как всегда, прекрасно владея собой и своей речью, коротко рассказал о сегодняшнем разговоре с Златоустом и о том, как неожиданно сильно он подействовал на юношу. Настоятель покачал головой, не скрывая досады.

– Странные разговоры, – сказал он, принуждая себя к спокойствию. – То, что ты мне тут рассказал, похоже на разговор, который можно назвать вмешательством в чужую душу, я бы сказал, это разговор душеспасительный. Но ведь ты не являешься духовником Златоуста. Ты вообще не духовник, ты даже еще не рукоположен. Как же получилось, что ты говорил с учеником в тоне советчика о вещах, которые касаются только духовника? Последствия, как видишь, печальны.

– Последствий, – сказал Нарцисс мягко, но без колебаний, – мы еще не знаем, досточтимый отец. Я был несколько напуган сильным воздействием нашего разговора, но не сомневаюсь, что его последствия будут для Златоуста добрыми.

– Мы еще увидим последствия. Сейчас я говорю не о них, а о твоих действиях. Что побудило тебя вести такие разговоры с Златоустом?

– Как вы знаете, он мой друг. Я испытываю к нему особую склонность и думаю, что очень хорошо понимаю его. Вы говорите, что я действовал так, будто я его духовник. Но я ни в коей мере не приписывал себе духовный авторитет, я только полагал, что знаю его лучше, чем он сам себя знает.

Настоятель пожал плечами:

– Я знаю, ты в этом силен. Будем надеяться, что ты не сделал этим ничего плохого. Златоуст болен? Я имею в виду, болит ли у него что-нибудь? Он ослаб? Плохо спит? Ничего не ест? Страдает от каких-нибудь болей?

– Нет, до сих пор он был здоров. Телом здоров.

– А в остальном?

– Душой он, во всяком случае, болен. Вы знаете, он в том возрасте, когда начинается борьба с половым инстинктом.

– Я знаю. Ему семнадцать?

– Ему восемнадцать.

– Восемнадцать... Ну да, достаточно много. Но ведь эта борьба естественна, каждый должен пройти через нее. Из-за этого ведь нельзя называть его больным душой.

– Нет, досточтимый отец, только из-за этого – нет. Но Златоуст был болен душой уже до этого, уже давно, поэтому эта борьба для него опаснее, чем для других. Он страдает, как я думаю, от того, что забыл часть своего прошлого.

– Вот как! Какую же это часть?

– Свою мать и все, что с ней связано. Я тоже ничего не знаю об этом, я только знаю, что там должен быть источник его болезни. Сам Златоуст как будто ничего не знает о своей матери, кроме того, что рано потерял ее. Но создается впечатление, что он стыдится ее. И все-таки именно от нее он унаследовал большинство своих дарований; то, что он рассказывает о своем отце, не дает представления о человеке, у которого может быть такой красивый, одаренный и своеобразный сын. Я знаю все это не из рассказов, я сужу об этом по некоторым признакам.

Настоятель, который поначалу слегка посмеивался про себя над этими не по годам умными и заносчивыми речами и для которого все дело было тягостным и щекотливым, задумался. Ему вспомнился отец Златоуста, несколько напыщенный и скрытный человек, и, кроме того, он вдруг припомнил некоторые слова, когда тот высказался о матери Златоуста. Она опозорила его и от него убежала, сказал он, и он постарался подавить в сыне воспоминания о ней и некоторые унаследованные от нее пороки. Это ему вполне удалось, и мальчик намерен во искупление того, в чем согрешила мать, посвятить свою жизнь Богу.

Никогда Нарцисс не был настоятелю столь мало приятен, как сегодня. И все-таки – как хорошо этот молодой мыслитель все разгадал, как, кажется, хорошо, по-настоящему он знает Златоуста!

В заключение, когда настоятель еще раз спросил Нарцисса о сегодняшнем случае, тот сказал:

– Сильное потрясение, которое пережил сегодня Златоуст, не было вызвано мной умышленно. Я напомнил ему о том, что он не знает сам себя, что он забыл свое детство и мать. Какое-то из моих слов, должно быть, задело его и проникло в ту темную сферу, против которой я давно борюсь. Он был каким-то отсутствующим и смотрел на меня, как бы не узнавая ни меня, ни себя самого. Я часто говорил ему, что он спит, что он не бодрствует по-настоящему. Теперь он пробудился, в этом я не сомневаюсь.

Нарцисс был отпущен без наказания, но временно ему запрещалось посещать больного.

Между тем патер Ансельм распорядился положить бесчувственного юношу на постель и сел возле него. Возвращать ему сознание сильными средствами казалось ему неразумным.

Больной выглядел слишком плохо. Благожелательно смотрел старик с морщинистым добрым лицом на юношу. Прежде всего он пощупал пульс и послушал сердце. Конечно, думал он, мальчуган съел что-то неудобоваримое, горсть кислицы или еще какой-нибудь дряни, дело известное. Язык он не мог посмотреть. Он любил Златоуста, но его друга, этого скороспелого, слишком молодого учителя, терпеть не мог. И вот результат! Определенно Нарцисс как-то замешан в этой глупой истории. Зачем нужно было связываться такому живому, ясноглазому мальчику, сыну природы, именно с этим высокомерным ученым, этим заносчивым грамотеем, для которого его греческий важнее всего живого в мире!

Когда долгое время спустя дверь открылась и вошел настоятель, патер все еще сидел, пристально смотря в лицо лежащего без сознания больного. Что за милое, юное, беззлобное лицо, и вот сидишь возле него, хочешь помочь и вряд ли сможешь. Конечно, причиной могли быть колики, он бы распорядился дать глинтвейну, может быть, ревеню. Но чем дольше он смотрел на бледное до зелени, искаженное лицо, тем более склонялся к другому подозрению, внушающему большие опасения. У патера Ансельма был опыт. Не раз за свою долгую жизнь он видал одержимых. Он медлил высказать свое глубокое подозрение даже себе самому. Лучше подождать и понаблюдать. Но, думал он мрачно, если бедный мальчик действительно одержим, то виновника не придется долго искать, и ему не поздоровится.

Настоятель подошел ближе, посмотрел на больного, приподнял ему осторожно веко.

– Можно его разбудить? – спросил он.

– Я хотел бы еще подождать. Сердце в порядке. К нему нельзя никого пускать.

– Есть опасность?

– Думаю, что нет. Никаких повреждений, никаких следов удара или падения. Он без сознания, может быть, были колики. При очень сильной боли теряют сознание. Если бы было отравление, был бы жар. Нет, он придет в себя и будет жить.

– А не может ли это быть из-за душевного состояния?

– Допускаю. Но ведь ничего не известно? Может быть, он сильно испугался? Известие о чьей-то смерти? Серьезный спор? Оскорбление? Тогда все было бы ясно.

– Мы этого не знаем. Позаботьтесь, чтобы к нему никого не пускали. Вас я прошу побыть с ним, пока он не придет в себя. Если ему станет хуже, позовите меня, даже среди ночи.

Перед уходом старик еще раз наклонился над больным; он вспомнил о его отце и том дне, когда этот красивый милый белокурый мальчик прибыл к нему, вспомнил, как все сразу полюбили его. И он с удовольствием смотрел на Златоуста. Но в одном Нарцисс был действительно прав: ни в чем этот мальчик не был похож на своего отца! Ах, сколько повсюду забот, как несовершенны все наши дела! Уж не упустил ли он чего в том, что касалось этого бедного мальчика? Был ли у него такой духовник, который ему действительно нужен? Разве это дело, что никто в монастыре не знал об этом ученике больше, чем Нарцисс? Мог ли тот ему помогать, когда сам еще был послушником, не был ни братом, ни рукоположенным, да и все мысли и взгляды его так неприятны, так высокомерны, даже почти враждебны? Бог знает, может быть, в монастыре и с Нарциссом вели себя неправильно? Бог знает, не скрывает ли он за маской послушания дурное, может, он язычник? И за все, что когда-нибудь выйдет из этих молодых людей, за все он, настоятель, тоже в ответе.

Когда Златоуст пришел в себя, было темно. Голова казалась пустой и кружилась. Он понял, что лежит в постели, но не знал где, он и не думал об этом: ему было все равно. Но где он побывал? Откуда вернулся, из какой чужбины переживаний? Он был где-то очень далеко отсюда, он что-то видел, что-то необычайное, что-то чудесное, и страшное, и незабываемое – и все-таки он это забыл. Где же это было? Что это там всплыло перед ним, такое, большое, такое скорбное, такое блаженное, и опять исчезло?

Он вслушивался в глубины своего существа, стараясь вновь проникнуть туда, где сегодня что-то прорвалось и что-то произошло. Что же это было? Беспорядочный рой образов нава-

лился на него, он видел собачьи головы, три собачьи головы, и вдыхал аромат роз. О, как ему было тяжело! Он закрыл глаза. О, как ужасно тяжело ему было! Он заснул опять.

Снова проснулся Златоуст, и как раз в тот момент, когда мир сновидений ускользал от него, он увидел этот образ, он обрел его и вздрогнул как бы в мучительном наслаждении. Он увидел, он прозрел. Он видел Ее. Он видел Великую, Сияющую, с ярким цветущим ртом, блестящими волосами. Он видел свою мать. Одновременно ему послышался голос: «Ты забыл свое детство». Чей же это голос? Он прислушался, подумал и вспомнил. Это был Нарцисс. Нарцисс? И в один момент, внезапным толчком все снова вернулось: он вспомнил, он знал. О мать, мать! Горы ненужного, моря забвения были устранены, исчезли; огромными светло-голубыми глазами несказанно любимая, Утраченная снова смотрела на него.

Патер Ансельм, задремавший в кресле рядом с кроватью, проснулся. Он услышал, что больной зашевелился, услышал его дыхание. Осторожно поднялся.

– Есть здесь кто-нибудь? – спросил Златоуст.

– Это я, не беспокойся. Я зажгу свет.

Он зажег лампу, свет упал на его доброе морщинистое лицо.

– Я болен? – спросил юноша.

– Ты был без сознания, сынок. Дай-ка руку, пощупаем-ка пульс. Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо. Спасибо вам, патер Ансельм, вы очень добры. Я совершенно здоров, только устал.

– Конечно, устал. Скоро опять уснешь. Выпей сначала глоток горячего вина, оно уже ждет тебя. Давай осушим с тобой по бокалу, мой мальчик, за добрую дружбу.

Он уже заботливо приготовил кувшинчик глинтвейна и поставил в сосуд с горячей водой.

– Вот мы оба и поспали немного, – засмеялся врач. – Хорош санитар, скажешь ты, не мог со сном бороться. Ну что ж, ведь и мы люди. Сейчас выпьем с тобой немного этого волшебного напитка, малыш, нет ничего приятнее такой вот маленькой тайной ночной попойки. Твое здоровье!

Златоуст засмеялся, чокнулся и отпил. Теплое вино было приправлено корицей и гвоздикой и подслащено сахаром, такого он еще никогда не пил. Ему пришло в голову, что он был уже однажды болен, тогда Нарцисс принял в нем участие. Теперь вот патер Ансельм был так мил с ним. Ему было очень хорошо, в высшей степени приятно и удивительно лежать здесь при свете лампы и среди ночи пить со старым патером сладкое теплое вино.

– Живот болит? – спросил старик.

– Нет.

– Я-то подумал, у тебя были колики, Златоуст. Значит, нет. Покажи-ка язык. Так, хорошо. Старый Ансельм и здесь обознался. Завтра ты еще полежишь, потом я приду и осмотрю тебя. А вино ты уже выпил? Да, оно должно хорошо подействовать. Дай-ка посмотрю, не осталось ли еще. На полбокала каждому наберется, если по-братски поделим. Ты нас порядком напугал, Златоуст! Лежал там, на галерее, как труп. У тебя правда живот не болит?

Они посмеялись и честно разделили остатки больничного вина, патер продолжал шутить, и Златоуст благодарно и весело смотрел на него опять прояснившимися глазами. Затем старик ушел спать.

Златоуст еще какое-то время не спал. Медленно поднимались опять из глубины души образы, снова вспыхивали слова друга, и еще раз явилась перед его внутренним взором белокурая сияющая женщина, его мать; как теплый сухой ветер, ее образ проник в него, как облако жизни, тепла, нежности и глубокого напоминания. О мать! О, как же могло случиться, что он забыл ее!

Глава пятая

До сих пор Златоуст кое-что знал о своей матери, но только из рассказов других; он утратил ее образ, а из того немногого, что, казалось, знал о ней, он, говоря с Нарциссом, о многом умалчивал. Мать была чем-то, о чем нельзя было говорить, ее стыдились. Она была танцовщицей, красивой, необузданной женщиной благородного, но недобропорядочного и языческого происхождения; отец Златоуста, так он рассказывал, вывел ее из нужды и позора, он, хоть и не был уверен, что она язычница, крестил ее и обучил обрядам, женился на ней и сделал женщиной, с которой считались. А она, прожив несколько лет покорно и безупречно, опять вспомнила свои прежние занятия, стала причиной многих скандалов, совращала мужчин, целыми днями и неделями не бывала дома, прослыла ведьмой и в конце концов, после того как муж несколько раз находил ее и возвращал, исчезла навсегда. Ее слава еще некоторое время давала о себе знать, недобрая слава, сверкнувшая, как хвост кометы, и затем угасшая. Ее муж медленно оправлялся от беспокойной жизни, страха, позора и вечных неожиданностей, которые она ему преподносила; вместо неудачной жены он воспитывал теперь сынишку, очень похожего всем своим обликом на мать; муж стал угрюмым ханжой и внушал Златоусту, что тот должен отдать свою жизнь Богу, чтобы искупить грехи матери.

Вот примерно то, что отец Златоуста имел обыкновение рассказывать о своей пропавшей жене, хотя он неохотно делал это; на эту историю намекал он настоятелю, когда привез Златоуста, и все это как страшная легенда было известно и сыну, хотя тот научился ее вытеснять и почти забывать. Но он совершенно забыл и утратил действительный образ матери, тот другой, совсем другой образ, родившийся не из рассказов отца и слуг и не из темных диких слухов. Его собственное, действительное, живое воспоминание о матери было забыто им. И вот этот-то образ, звезда его ранних лет опять взошла.

– Непостижимо, как я мог это забыть, – сказал он своему другу. – Никогда в жизни я не любил кого-нибудь так, как мать, так безусловно и пылко; никогда не чтил, не восхищался так кем-нибудь, она была для меня солнцем и луной. Бог знает, как получилось, что этот сияющий образ потемнел в моей душе, постепенно превратился в злую, бледную, бестелесную ведьму, которой она была для отца и для меня многие годы.

Нарцисс недавно закончил свое послушание и был пострижен в монахи. Станным образом переменялось его отношение к Златоусту. Златоуст же, ранее часто отклонявший предостережения друга и не принимавший тяготившее его наставничество, со времени того важного для себя переживания был полон изумленного восхищения мудростью друга. Как много его слов оказались пророческими, как глубоко заглянул тот в его душу своим жутким взором, как точно угадал его жизненную тайну, его скрытую рану, как умно исцелил его!

Юноша и выглядел исцеленным. Не только от обморока не осталось дурных последствий; как будто растаяло все надуманное, не по годам умное, неестественное в существе Златоуста, его скороспелое решение стать монахом, вера в свою обязанность с особым усердием служить Богу. Юноша, казалось, одновременно стал и моложе, и старше с тех пор, как обрел себя. Всем этим он обязан был Нарциссу.

Нарцисс же относился к своему другу с некоторых пор со своеобразной осторожностью; смотрел на него очень скромно, обходился без поучений и не выказывал своего превосходства, когда тот им восхищался. Он видел, что Златоуст черпает силы из тайных источников, которые ему самому были чужды. Он сумел способствовать их росту, но не участвовал в них. С радостью видел он, что друг освобождается от его руководительства, и все-таки временами бывал печален. Он считал себя пройденной ступенью, сброшенной кожей; он видел, что близится конец их дружбе, которая для него была столь необходима. Он все еще знал о Златоусте больше, чем тот сам о себе, потому что хотя Златоуст и обрел свою душу и был готов следовать ее

зову, но куда она его позовет, он еще не догадывался. Нарцисс же об этом догадывался, но был бессилён: путь его любимца вел в мир, где сам он никогда не окажется.

Жажда знаний у Златоуста значительно ослабела. Пропала и охота спорить с другом, со стыдом вспоминал он некоторые из их прошлых бесед. Между тем у Нарцисса, то ли из-за окончания его послушания, то ли из-за переживаний, связанных с Златоустом, пробудилась потребность в уединении, аскезе и духовных упражнениях, склонность к постам и долгим молитвам, частым исповедям, добровольным покаяниям, и эту склонность Златоуст был в состоянии понять, даже чуть ли не разделить. Со времени выздоровления его инстинкт очень обострился, и если он совсем ничего не знал о своих будущих целях, то с отчетливой и часто устрашающей ясностью чувствовал, что решается его судьба, что отныне некая запретная пора, время невинности и покоя, прошла, и все в нем было в напряженной готовности. Нередко предчувствие было блаженным, полночи не давало спать подобно сладкой влюбленности; нередко же оно бывало темным и глубоко удручающим. Мать, некогда утраченная, снова вернулась к нему, это было большое счастье. Но куда поведет сына ее манящий зов? К неопределенности, запутанности, к нужде, может быть, к смерти. К покою, тишине, надежности, к монашеской келье и жизни в монастырской общине ее зов не вел, он не имел ничего общего с отцовскими заповедями, которые он так долго принимал за собственные желания. Этим ощущением, которое часто бывало сильным, страшным и жгучим, как горячее физическое чувство, питалась набожность Златоуста. Повторяя длинные молитвы к Богородице, он освобождался от избытка чувства к собственной матери. Однако нередко его молитвы опять заканчивались теми странными, великолепными мечтами, которые он теперь часто переживал: снами наяву, при наполовину бодрствующем сознании, мечтами о ней, в которых участвовали все чувства. Тогда материнский мир окружал его благоуханием, таинственно смотрел темными глазами любви, шумел, как море и рай, ласково лепетал бессмысленные или скорее переполненные смыслом звуки, имел вкус сладкого и соленого, касался шелковистыми волосами жаждущих губ и глаз. В матери было не только все прелестное – милый голубой взгляд любви, чудесная, сияющая счастьем улыбка, в ней было и все ужасное и темное – все страсти, все страхи, все грехи, все беды, все рождения, все умирания.

Глубоко погружался юноша в эти мечты, в эти хитросплетения одухотворенных чувств. В них поднималось вновь не только чарующее, милое прошлое: детство и материнская любовь, сияющее золотое утро жизни; в них таилось и грозное обещание, манящее и опасное будущее. Иногда эти мечтания, в которых мать, Пречистая Дева и возлюбленная объединялись, казались ему потом ужасным преступлением и кощунством, смертным грехом, который никогда уже не искупить; в другой раз он находил в них спасение, совершенную гармонию. Полная тайн, жизнь не отводила от него глаз, темный загадочный мир, застывший ошестившийся лес, исполненный сказочных опасностей, – все это были тайны матери, исходили от нее, вели к ней, они были маленьким темным кругом, маленькой грозящей бездной в ее светлом взоре.

Многое из забытого детства всплывало в этих мечтаниях о матери; из бесконечных глубин и утрат расцветало множество маленьких цветов-воспоминаний, мило выглядывали они, благоухали, полные предчувствий, напоминая о детских ощущениях – то ли переживаниях, то ли мечтах. Иногда ему грезилась рыбы, черные и серебристые: они подплывали к нему, прохладные и гладкие, проплывали в него, через него, были как посланцы дивных вестей счастья из какой-то более прекрасной действительности; превращаясь в тени, виляя хвостами, исчезали, оставляя вместо вестей новые тайны. Часто виделись ему плывущие рыбы и летящие птицы, и каждая рыба или птица была его созданием, зависела от него, и он управлял ими, как своим дыханием, излучал их из себя, как взгляд, как мысль, возвращал назад в себя. О саде грезил он часто, волшебном саде со сказочными деревьями, огромными цветами, глубокими темно-голубыми гротами; из трав сверкали глазами незнакомые животные, по ветвям скользили гладкие, упругие змеи; лозы и кустарники были усыпаны огромными влажно блестящими

ягодами; они наливались в его руке, когда он срывал их, и сочились теплым, как кровь, соком или имели глаза и поводили ими томно и лукаво; он прислонялся к дереву, хватался за сук и видел между стволом и суком комков спутанных волос, как под мышкой. Однажды он увидел во сне себя или своего святого, Хризостома, Златоуста, у него были золотые уста, и он говорил этими устами слова, и слова, как маленькие роящиеся птицы, вылетали порхающими стаями.

Однажды ему приснилось: он был взрослым, но сидел на земле, как ребенок, перед ним лежала глина, и он лепил из нее фигуры – лошадку, быка, маленького мужчину, маленькую женщину. Ему нравилось лепить, но он делал животным и людям до смешного большие половые органы, во сне это казалось ему очень забавным. Устав от игры, он пошел было дальше и вдруг почувствовал, что сзади что-то ожило, что-то огромное беззвучно приближалось; он оглянулся и с глубоким удивлением и страхом, хотя и не без радости, увидел, что его маленькие глиняные фигурки стали большими и ожили. Огромные безмолвные великаны прошли мимо него, все возрастая; молча шли они дальше в мир, высокие, как башни.

В этом мире грез он жил больше, чем в действительности. Действительный мир – классная комната, монастырский двор, библиотека, дортуар и часовня – был лишь поверхностью, тонкой пульсирующей оболочкой над сверхреальным миром образов, полным грез. Самой малости было достаточно, чтобы пробить эту тонкую оболочку: какого-нибудь необычного звучания греческого слова во время обычного урока, волны аромата трав из сумки патера Ансельма, увлекающегося ботаникой, взгляда на завиток каменного листа, свешивающегося с колонны оконной арки, – этих малых побуждений хватало, чтобы за безмятежной действительностью без прикрас отверзлись ревущие бездны, потоки и млечные пути мира душевных образов. Латинский инициал становился благоухающим лицом матери, протяжные звуки «Аве Мария» – вратами рая, греческая буква – несущимся конем, приподнявшейся было змеей, спокойно скользившей меж цветов, и вот уже опять вместо них застывшая страница грамматики.

Редко говорил он об этом, лишь изредка намекал Нарциссу на существование этого мира грез.

– Я думаю, – сказал он однажды, – что лепесток цветка или червяк на дороге говорят и содержат много больше, чем книги целой библиотеки. Буквами и словами ничего нельзя сказать. Иногда я пишу какую-нибудь греческую букву, тету или омегу, поверну чуть-чуть перо, и вот буква уже виляет хвостом, как рыба, и в одну секунду напомнит о всех ручьях и потоках мира, о прохладе и влаге, об океанах Гомера и о водах, по которым пытался идти Петр², или же буква становится птицей, выставляет хвост, топорщит перья, раздувается, смеясь, улетает. Ну как, Нарцисс, ты, верно, не очень-то высокого мнения о таких буквах? Но говорю тебе: ими писал мир Бог.

– Я высокого мнения о них, – сказал Нарцисс печально. – Это волшебные буквы, ими можно изгнать всех бесов. Правда, для занятий науками они не годятся. Дух любит твердое, оформленное, он хочет полагаться на свои знаки, он любит сущее, а не становящееся, действительное, а не возможное. Он не терпит, чтобы омега становилась змеей и птицей. В природе Дух не может жить, только вопреки ей, только как ее противоположность. Теперь ты веришь мне, Златоуст, что никогда не будешь ученым?

О да, Златоуст поверил этому давно, он был с этим согласен.

– Я больше не одержим стремлением к вашему Духу, – сказал он посмеиваясь. – С Духом и с ученостью дело обстоит так же, как с моим отцом: мне казалось, что я очень люблю его и похож на него, я свято верил всем его речам. Но едва вернулась мать, я узнал, что такое любовь, и рядом с ее образом отец вдруг стал незначительным и безрадостным, почти отвратительным. И теперь я склонен считать все духовное отцовским, нематеринским, враждебным материнскому началу и недостойным высокой оценки.

² Знаменитый эпизод из Евангелия от Матфея: гл. 14.

Он говорил шутя, но ему не удалось развеселить друга, убрать печаль с его лица. Нарцисс молча взглянул на него, в его взгляде была ласка. Потом он сказал:

– Я прекрасно понимаю тебя. Теперь нам нечего больше спорить: ты пробудился и теперь уже знаешь разницу между собой и мной, разницу между материнским и отцовским началом, между душой и Духом. А скоро, по-видимому, узнаешь и то, что твоя жизнь в монастыре и твое стремление к монашеству были заблуждением, измышлением твоего отца, который хотел этим смыть грех с памяти о матери, а может быть, всего лишь отомстить ей. Или ты все еще думаешь, что предназначен всю жизнь оставаться в монастыре?

Задумчиво рассматривал Златоуст руки своего друга, эти благородные, строгие и вместе с тем нежные, худые белые руки. Никто бы не усомнился, что это руки аскета и ученого.

– Не знаю, – сказал Златоуст певучим, несколько неуверенным голосом, растягивая каждый звук, как привык говорить с некоторых пор. – Я в самом деле не знаю. Ты довольно строго судишь о моем отце. Ему ведь было нелегко. А может, ты и прав. Вот уже три года, как я учусь здесь, а он ни разу не навестил меня. Он надеется, что я навсегда останусь здесь. Может быть, это было бы лучше всего, я ведь и сам всегда этого хотел. Но теперь я не знаю, чего хочу. Раньше все было просто, просто, как буквы в учебнике. Теперь все не просто, даже буквы. Все стало многозначно и многолико. Не знаю, что из меня выйдет, теперь я не могу думать об этих вещах.

– Ты и не должен, – сказал Нарцисс. – Время покажет, куда ведет твой путь. Начался он с того, что привел тебя обратно к матери, и еще больше приблизит к ней. Что касается твоего отца, я не сужу его слишком строго. А хотел бы ты вернуться к нему?

– Нет, Нарцисс, конечно, нет. Иначе я сделал бы это сразу по окончании школы или уже сейчас. Ведь раз я не буду ученым, то хватит с меня того, что я знаю из латыни, греческого и математики. Нет, к отцу я не хочу... – Он задумчиво смотрел перед собой и вдруг воскликнул: – Но как это у тебя получается, ты все время говоришь мне слова и ставишь вопросы, которые прямо-таки пронзают меня и проясняют мне меня самого? Вот и теперь твой вопрос, хочу ли я вернуться к отцу, сразу показал мне, что я не хочу этого. Как ты это делаешь? Кажется, что ты все знаешь. Ты говорил мне кое-что о себе и обо мне, поначалу я не очень-то и понимал это, а потом оно стало таким важным для меня! Ты первый определил материнские истоки во мне, именно ты понял, что я был под чарами и забыл свое детство! Откуда ты так хорошо знаешь людей? Нельзя ли и мне научиться этому?

Нарцисс, улыбаясь, покачал головой:

– Нет, мой милый, у тебя это не получится. Есть люди, которые многому могут научиться, но ты не из их числа. Ты никогда не будешь учащимся. Да и зачем? Тебе это не нужно. У тебя другие дарования. У тебя больше дарований, чем у меня. Ты богаче меня, но и слабее, твой путь будет лучше и труднее, чем мой. Иногда ты не хотел меня понять, часто вставал на дыбы, как жеребенок, не всегда бывало легко, и часто я вынужден был делать тебе больно. Я должен был тебя пробудить, ты ведь спал. Даже мое напоминание тебе о матери поначалу причинило тебе боль, сильную боль, ты лежал как мертвый на галерее, где тебя нашли. Но так должно было быть... Нет, не гладь меня по голове! Нет, оставь. Я этого не люблю.

– И учиться мне нечему? Я навсегда останусь глупым ребенком?

– Найдутся другие, у которых ты будешь учиться. С тем, чему ты мог научиться у меня, малыш, покончено.

– О нет, – воскликнул Златоуст, – мы не для этого стали друзьями! Что же это за дружба, которая достигает цели за короткое время, а затем прекращается! Или я тебе надоел? Противел?

Нарцисс, опустив голову, быстро ходил взад и вперед, потом остановился перед другом.

– Оставь, – сказал он мягко, – ты прекрасно знаешь, что не противен мне.

С сомнением глядел он на Златоуста, потом опять принялся ходить взад и вперед, еще раз остановился; с худого сурового лица на Златоуста твердо смотрели глаза друга. Тихим голосом, но твердо и сурово он сказал:

– Послушай, Златоуст! Наша дружба была хорошей, у нее была цель, и она достигнута: ты пробудился. Надеюсь, она не кончена, надеюсь, она возобновится и приведет к новым целям. Но сегодня цели нет. Твоя – неопределенна, и я не могу ни вести тебя, ни сопровождать. Спроси свою мать, спроси ее образ, слушайся ее! Моя же цель определенной, она здесь, в монастыре, она требует меня каждый час. Я смею быть твоим другом, но я не смею быть влюбленным. Я – монах, я дал обет. Перед рукоположением я намерен получить отпуск от учительства и посвятить несколько недель посту и духовным упражнениям. В это время я не смогу говорить ни о чем мирском, и с тобой тоже.

Златоуст понял. Печально сказал он:

– Итак, ты будешь делать то, что делал бы и я, если бы вступил в Орден. А когда закончишь подготовку, когда будет достаточно постов, и молитв, и бодрствований, что тогда станет твоей целью?

– Ты же знаешь, – сказал Нарцисс.

– Ну да. Через несколько лет станешь первым учителем, возможно, даже управляющим школой. Будешь совершенствовать преподавание, увеличивать библиотеку. Может быть, сам станешь писать книги. Не так ли? Но в чем же будет цель?

Нарцисс слабо улыбнулся:

– Цель? Может, я умру управляющим школой, или настоятелем, или епископом. Все равно. Цель же – всегда быть там, где я смогу служить наилучшим образом, где мой характер, мои качества и дарования найдут наилучшую почву, наибольшее воздействие. Другой цели нет.

Златоуст. Никакой другой цели для монаха?

Нарцисс. О да, целей предостаточно. Жизненной целью для монаха может быть изучение древнееврейского, комментирование Аристотеля или роспись монастырской церкви, затворничество и медитирование или сотни других вещей. Для меня это не цели. Я не желаю ни умножать богатство монастыря, ни реформировать Орден или церковь. Я желаю по мере моих сил служить Духу, как я его понимаю. Разве это не цель?

Долго обдумывал ответ Златоуст.

– Ты прав, – сказал он. – Я очень помешал тебе на пути к твоей цели?

– Помешал? О Златоуст, никто не помог мне больше, чем ты. У меня были трудности с тобой, но я не противник трудностей. Я учился на них, я их почти преодолел.

Златоуст перебил его, сказав полусуто:

– Да, ты их великолепно преодолел! Но скажи-ка, когда ты помогал мне, руководил мной и освобождал мою душу, ты действительно тем самым служил Духу? А может, ты этим отнял у монастыря ревностного и добронравного послушника и воспитал противника Духа, кого-то, кто будет помышлять о противоположном тому, что ты считаешь добрым, будет к этому стремиться, этого добиваться!

– Почему бы и нет? – ответил Нарцисс весьма серьезно. – Мой друг, ты все еще плохо знаешь меня! Я, по-видимому, погубил в тебе монаха, зато я открыл тебе путь к необычной судьбе. Даже если ты завтра спалишь наш милый монастырь или объявишь какую-нибудь безумную ересь, я никогда не раскаюсь в том, что помог тебе встать на этот путь. – Он ласково положил обе руки другу на плечи. – Видишь ли, мой маленький Златоуст, в мои цели входит также вот что: будь я учитель или настоятель, духовник или что угодно, никогда не захочу оказаться в таком положении, когда, встретив сильного, одаренного и особенного человека, я его не пойму, не помогу ему, не дам раскрыться. И скажу тебе: что бы ни вышло из тебя и меня, как бы ни сложились наши судьбы, когда бы ты ни позвал меня, потому что я буду тебе нужен, я всегда отзовусь. Всегда!

Слова эти звучали как прощальные и действительно озаменовали приближение прощания. Стоя перед другом, смотря в его решительное лицо, видя его целеустремленный взгляд, Златоуст окончательно понял, что теперь они больше не братья и товарищи, что пути их уже разошлись. Тот, кто стоял перед ним, не был мечтателем и не ждал каких-то зовов судьбы: он был монахом, отдал себя в распоряжение твердого порядка и долга, был слугой и солдатом Ордена, церкви, Духа. Сам же он, сегодня это стало ясно ему, не принадлежал к этому миру, он был без родины, его ждала неизвестность. То же самое случилось когда-то с его матерью. Она оставила дом и хозяйство, мужа и ребенка, общество и порядок, долг и честь и ушла в неизвестное, видимо, там давно и погибла. У нее не было цели, как и у него. Иметь цели – это дано другим, не ему. О, как хорошо все это уже давно увидел Нарцисс, как он был прав!

Вскоре после этого дня Нарцисс как бы исчез, будто стал вдруг невидим. Другой учитель вел его уроки, его место в библиотеке пустовало. Он еще был здесь, не полностью стал незрим, иногда можно было видеть, как он проходит по галерее, иногда слышать, как шепчет молитвы в одной из часовен, стоя на коленях на каменном полу; знали, что он начал готовиться к постригу, что он постится и по три раза в ночь встает читать молитвы. Он был еще здесь и все-таки перешел в другой мир; его можно было, хотя и редко, видеть, но он был недостижим, с ним нельзя было общаться, говорить. Златоуст знал, Нарцисс появится опять, займет свое место в библиотеке, в трапезной, с ним снова можно будет поговорить, но прошлого не вернуть: Нарцисс никогда не будет принадлежать ему. И когда он думал об этом, он понимал, что только благодаря Нарциссу, и никому другому, ему пришлось по душе и стали важны монастырь и монашество, грамматика и логика, учение и Дух. Его пример манил Златоуста, быть таким, как Нарцисс, стало его идеалом. Правда, был еще настоятель, его он тоже почитал и любил и видел в нем высокий образец. Другие же – учителя, ученики, как и все остальное – дортуар, трапезная, школа, уроки, службы, весь монастырь, – без Нарцисса его не занимали. Что же он еще делал здесь? Он ждал, он стоял под кровлей монастыря, словно растерявшийся спутник, который в дождь остановился под крышей какого-то дома или под деревом, просто чтобы переждать, просто как гость, просто из страха перед суровой неизвестностью.

Жизнь Златоуста в это время была лишь промедлением и прощанием. Он посетил все места, которые были ему дороги или как-то значимы для него. С необычайным удивлением заметил он, сколь мало людей и лиц было здесь, прощаться с которыми было бы ему тяжело. Нарцисс и старый настоятель Даниил, да еще добрый милый патер Ансельм, да, пожалуй, еще ласковый привратник и жизнерадостный сосед-мельник, но и они стали уже почти нереальны. Труднее было прощаться с большой каменной Мадонной в часовне, с апостолами на портале. Долго стоял он перед ними, а также перед прекрасной резьбой хоров, перед фонтаном в галерее, перед колоннами с тремя головами животных, прислонился к липам во дворе, к каштану. Когда-нибудь все это станет воспоминанием, маленькой книжицей с картинками в его сердце. Даже теперь, когда он был среди них, они начинали ускользать от него, уходя от действительности, превращаясь во что-то бывшее. С патером Ансельмом, который охотно брал его с собой, он ходил собирать травы, у мельника присматривал за работниками и время от времени получал приглашение разделить с ним трапезу с печеной рыбой и вином; но все это было уже чужим и наполовину стало воспоминанием. Как его друг Нарцисс, иногда, правда, попадавшийся в сумраке церкви и исповедальни, стал для него тенью, так и все вокруг было лишено действительности, дышало осенью и переменчивостью.

Действительной и живой была только жизнь внутри, робкое биение сердца, болезненное жало мучительного ожидания, радости и страха его грез. Им он принадлежал, отдаваясь целиком. Во время чтения или занятий, в кругу товарищей он мог погрузиться в себя и все забыть, отдаваясь потокам и голосам внутри, увлекавшим его в глубины, полные темных мелодий, в цветные бездны, исполненные сказочных переживаний, все звуки которых звучали как голос матери и тысячи глаз которых были глазами матери.

Глава шестая

Как-то патер Ансельм позвал Златоуста в свою аптеку, уютное, чудно пахнущее травами помещение. Златоусту здесь все было знакомо. Патер показал ему какое-то засушенное растение, аккуратно упрятанное между чистыми листами бумаги, и спросил, знакомо ли ему это растение и может ли он точно описать, как оно выглядит в поле. Да, это Златоуст мог: растение называлось зверобой. Он точно описал все его приметы. Старый монах был доволен и дал своему юному другу задание набрать после обеда побольше этих растений, подсказав, где их лучше найти.

– Из-за этого задания ты будешь свободен от послеобеденных занятий, дорогой, надеюсь, ты не против. К тому же ты ничего не теряешь. Ведь знание природы – это тоже наука, не только ваша дурацкая грамматика.

Златоуст поблагодарил за весьма приятное поручение собирать несколько часов цветы, вместо того чтобы сидеть в школе. Для полноты радости он попросил у шталмейстера своего коня и сразу после обеда вывел из конюшни Блесса, который его бурно приветствовал, вскочил на него и, очень довольный, пустился рысью в теплую сияющую даль. Часок-другой он скакал в свое удовольствие, наслаждаясь воздухом и благоуханием полей, а больше всего скачкой, потом вспомнил о задании и нашел одно из мест, описанных патером. Тут он привязал лошадь под тенистым кленом, поболтал с ней, дав хлеба, и отправился на поиски цветов. Перед ним лежало несколько наделов невозделанной пашни, бурно заросших всякого рода сорной травой; мелкие, жалкие маки с последними бледными цветами и уже зрелыми семенными коробочками поднимались среди засохшей повилики, и небесно-голубых цветов цикория, и поблекшей гречихи, несколько сброшенных в кучу камней, разделявших поля, были заселены ящерицами, а вот, наконец, и первые кустики зверобоя, и Златоуст принялся собирать их. Собрав изрядную охапку, он присел на камни отдохнуть. Было жарко, и он вожделенно поглядывал на густую сень далекой лесной опушки, но так далеко ему не хотелось уходить от лошади, которую отсюда еще было видно. Он остался сидеть на теплых булыжниках, притаившись, чтобы выманить обратно спрятавшихся было ящериц, нюхал зверобой, держа его маленькие кисточки на свет, чтобы разглядеть сотни крохотных проколов иголочек.

Удивительно, думал он, на каждом из тысячи маленьких лепесточков выколото крохотное звездное небо, тонко, как будто это шитье. Удивительно и непостижимо, впрочем, все: ящерицы, растения, даже камни, вообще все. Патер Ансельм, который так любит его, уже не может сам собирать зверобой: с ногами плохо, а в некоторые дни он и совсем не двигается, а собственное врачевание не помогает. Возможно, он скоро умрет, а травы в аптеке будут продолжать благоухать, хотя старого патера уже не будет в живых. А может быть, он проживет еще долго, лет десять или двадцать, и у него будут все такие же белые редкие волосы и те же веселые лучики морщин возле глаз; что будет с ним, с самим Златоустом, через двадцать лет? Ах, все было непонятно и, в сущности, печально, хотя и прекрасно. Ничего не известно. Вот живешь и бродишь по земле или скачешь по лесам, и что-то смотрит на тебя так требовательно и обещающе, пробуждая тоску ожидания: вечерняя звезда, голубой колокольчик, заросшее зеленым тростником озеро, взгляд человека или коровы, а иногда кажется, вот сейчас произойдет что-то невиданное, но давно чаемое, со всего упадет завеса; но время идет, и ничего не происходит, и загадка не решена, и тайные чары не развеяны, и вот наконец приходит к тебе старость, и ты выглядишь таким хитроватым, как патер Ансельм, или таким мудрым, как настоятель Даниил, а все еще ничего не знаешь, но ждешь и прислушиваешься.

Он поднял пустую раковину улитки, позвякивавшую от соприкосновения с камнями и теплую от солнца. Погруженный в размышления, рассматривал витки раковины: спираль с насечками, изобретательно уменьшавшуюся к концу, пустой зев, блестящий перламутром. Он

закрыв глаза, чтобы почувствовать форму чуткими пальцами, это была его старая привычка и игра. Вращая раковину легкими пальцами, ласково поглаживал ее без нажима, поражаясь чуду формы, волшебству телесного. Вот в чем, думал он мечтательно, был один из недостатков школы и учености; видеть и представлять все так, как будто оно плоское и имеет лишь два измерения. В этом, казалось ему, заключается неполноценность рассудочного подхода, но он был уже не в состоянии удержать мысль, раковина выскользнула из его пальцев, он почувствовал себя усталым и сонным. Положив на колени свои травы, которые, увядая, пахли все сильнее и сильнее, он заснул на солнце. По его башмакам бегали ящерицы, на коленях увядали травы, под кленом с нетерпением ждал Блесс.

От далекого леса кто-то приближался к нему. Молодая женщина в выцветшей голубой юбке, с красным платком, повязанным поверх черных волос, с загоревшим от лучей летнего солнца лицом. Женщина подошла ближе, держа в руках узелок, а во рту – маленькую ярко-красную гвоздику. Она увидела сидящего Златоуста, долго разглядывала его издали с любопытством и в то же время подозрительно, но, заметив, что он спит, подошла ближе, осторожно ступая босыми загорелыми ногами, остановилась прямо перед Златоустом и посмотрела на него. Ее подозрительность исчезла: красивый спящий юноша был, видимо, не опасен, он очень понравился ей. Как попал он сюда, на невозделанные поля? Он собирал цветы, заметила женщина с улыбкой, они уже завяли.

Златоуст открыл глаза, возвращаясь из дебрей сна. Его голова лежала на чем-то мягком. Это были колени женщины, в его заспанные удивленные глаза смотрели чужие карие. Они были близко, от них веяло теплом. Он не испугался: опасности не было, теплые карие звезды светились приветливо. Вот женщина улыбнулась в ответ на его удивленный взгляд, улыбнулась очень приветливо, и он тоже стал медленно улыбаться. На его улыбающиеся губы опустился ее рот, они поздоровались этим нежным поцелуем, при котором Златоусту сразу же вспомнился тот вечер в деревне и маленькая девушка с косами. Но поцелуй был еще не кончен. Рот женщины задержался на его губах, продолжая игру, дразнил и манил, схватил их наконец с силой и жадностью, волнуя кровь и будоража до самой глубины, и в долгой молчаливой игре, едва заметно наставляя, женщина отдавалась мальчику, позволяя искать и находить, воспаляя его и утоляя пыл. Дивное короткое блаженство любви охватило его, вспыхнуло золотым пламенем, пошло на убыль и погасло. Он лежал с закрытыми глазами на груди женщины. Не было сказано ни слова. Женщина лежала тихо, нежно глядя его по голове, помогая ему постепенно приходить в себя. Наконец он открыл глаза.

– Послушай, – проговорил он. – Кто ты?

– Я – Лизе, – ответила она.

– Лизе, – повторил он, как бы пробуя это имя на вкус. – Лизе, ты – прелесть.

Она прошептала ему в самое ухо:

– У тебя это было в первый раз? Ты никого еще не любил до меня?

Он покачал головой. Потом быстро встал и посмотрел вокруг, на поле, на небо.

– О! – воскликнул он. – Солнце-то уже совсем село. Мне надо возвращаться.

– Куда же это?

– В монастырь, к патеру Ансельму.

– В Мариабронн? Ты оттуда? А не хочешь еще побыть со мной?

– Очень хочу.

– Так останься!

– Нет, нельзя. Мне надо еще набрать травы.

– Ты что же, монастырский?

– Да, я учусь. Но я не останусь там. Можно мне будет прийти к тебе, Лизе? Где ты живешь, где твой дом?

– Я нигде не живу, дорогой. Но скажи мне твое имя. Значит, тебя зовут Златоуст? Поцелуй меня еще раз, милый Златоуст, тогда можешь идти.

– Ты нигде не живешь? Где же ты спишь?

– Если захочешь, буду спать с тобой в лесу или на сеновале. Придешь сегодня ночью?

– О да! Куда? Где мне найти тебя?

– Умеешь кричать как сова?

– Никогда не пробовал.

– Попробуй.

Он попробовал. Она засмеялась и осталась довольна.

– Тогда выходи ночью из монастыря и покричи, я буду поблизости. Так я нравлюсь тебе, Златоуст, дитя мое?

– Ах, ты мне очень нравишься, Лизе. Я приду. Храни тебя Бог, а теперь я должен спешить.

На взмыленном коне в сумерки Златоуст вернулся в монастырь и был рад, что патер Ансельм очень занят: купаясь в ручье, кто-то из братьев поранил ногу осколком.

Теперь нужно было разыскать Нарцисса. Он спросил о нем у одного из прислуживающих братьев в трапезной. Нет, Нарцисс не придет на вечернюю трапезу, у него пост, и сейчас он, по-видимому, спит, потому что по ночам читает часослов. Златоуст бросился туда, где спал его друг во время подготовки к постригу. Это была одна из келий для кающихся во внутреннем монастыре. Не раздумывая, он вбежал внутрь, прислушался у двери: ничего не было слышно. Он тихо вошел. То, что это было строго запрещено, сейчас не имело значения.

На узкой постели лежал Нарцисс, в сумерках он был похож на мертвеца, настолько неподвижно, скрестив руки на груди, лежал он на спине с бледным, заострившимся лицом. Но глаза его были открыты: он не спал. Молча и без упрека смотрел он на Златоуста, лежа неподвижно, отрешенно, настолько уйдя в иное время и иной мир, что лишь с трудом узнавал друга и понимал его слова.

– Нарцисс! Прости, прости, милый, что мешаю тебе, но я делаю это не из озорства. Я знаю, что ты сейчас не смеешь со мной говорить, но сделай это, очень прошу тебя.

Нарцисс пришел в себя и стал усиленно моргать глазами, словно пытаясь пробудиться ото сна.

– Это необходимо? – спросил он угасшим голосом.

– Да, это необходимо. Я пришел попрощаться с тобой.

– Тогда это необходимо. Ты не пришел бы зря. Проходи, сядь ко мне. Четверть часа у меня есть до начала первого бдения.

Он поднялся и сел на голой постели. Сейчас особенно бросалась в глаза его худоба. Златоуст сел рядом.

– Только извини! – сказал он, чувствуя себя виноватым.

Келья, голая постель, невыспавшееся, переутомленное лицо Нарцисса, его почти полностью отсутствующий взгляд – все свидетельствовало о том, что он, Златоуст, здесь лишний.

– Извинения тут ни к чему. Не беспокойся обо мне, я здоров. Ты говоришь, что хочешь попрощаться? Ты уходишь?

– Я уйду сегодня же. Ах, не могу тебе рассказать! Все вдруг решилось!

– Твой отец приехал или ты получил известие от него?

– Нет, ничего. Сама жизнь пришла ко мне. Я ухожу, без отца, без разрешения. Я опозорю тебя, друг, я убегу.

Нарцисс посмотрел на свои длинные белые пальцы: тонкие, как у призрака, они выглядывали из рукавов рясы. Не на строгом, смертельно усталом его лице, но в голосе послышалась улыбка, когда он сказал:

– У нас очень мало времени, милый. Скажи только самое необходимое, коротко и ясно. Или, может быть, мне сказать, что с тобой произошло?

– Скажи, – попросил Златоуст.

– Ты влюбился, милый мальчик, ты познал женщину.

– Как это ты опять все узнал?

– Глядя на тебя, это сделать нетрудно. Твое состояние, дружок, имеет все признаки того вида опьянения, который называется влюбленностью. Ну так продолжай, пожалуйста.

Златоуст робко положил руку на плечо друга:

– Ты уже сказал. Но на этот раз нехорошо сказал, Нарцисс, неправильно. Это было совсем иначе. Я был далеко в поле и заснул на жаре, а когда проснулся, моя голова лежала на коленях прекрасной женщины, и я сразу почувствовал, что вот пришла моя мать, чтобы взять меня к себе. Не то чтобы я принял эту женщину за свою мать, нет, у этой темные карие глаза, черные волосы, а моя мать была белокурая, как я, она выглядела совсем иначе. И все-таки эта была она, это был ее зов. Это была весть от нее. Как будто из грез моего собственного сердца явилась вдруг прекрасная чужая женщина, она держала мою голову у себя на коленях и улыбалась мне, как цветок, и была мила со мной: при первом же поцелуе я почувствовал, будто что-то тает во мне и причиняет сладкую боль. Вся тоска, какую я когда-либо чувствовал, все мечты, все сладостное ожидание, все тайны, спавшие во мне, проснулись, все преобразилось, лишилось чар, все получило смысл. Она показала мне, что такое женщина с ее тайной. За полчаса она сделала меня старше на несколько лет. Я теперь многое знаю. И вот что я узнал также совсем неожиданно: что не должен оставаться здесь ни одного дня. Я уйду, как только настанет ночь.

Нарцисс слушал и кивал головой.

– Это произошло неожиданно, – сказал он, – но это примерно то, что я ожидал. Я буду много думать о тебе. Мне будет тебя недоставать, друг. Могу я что-нибудь сделать для тебя?

– Если можешь, скажи нашему настоятелю, чтобы он не проклял меня окончательно. Он единственный в монастыре, кроме тебя, чья память обо мне для меня небезразлична. Его и твоя.

– Я знаю... Может, у тебя есть еще просьбы?

– Да, одна просьба. Когда будешь вспоминать меня, помолись обо мне! И... спасибо тебе.

– За что, Златоуст?

– За твою дружбу, за твоё терпение, за все. И за то, что ты сейчас выслушал меня, хотя это очень трудно для тебя. И за то, что не пытался удержать меня.

– С какой стати мне бы пришло в голову удерживать тебя? Ты же знаешь, что я думаю по этому поводу. Но куда же ты пойдешь, Златоуст? У тебя есть цель? Ты идешь к той женщине?

– Я иду с ней, да. Цели у меня нет. Она не здешняя, вроде бы бездомная. Может, цыганка.

– Ну хорошо. Но скажи, мой милый, ты знаешь, что твой путь с ней может оказаться очень коротким? Тебе не следует, по-моему, особенно полагаться на нее. Ведь у нее могут быть родственники, может, муж, кто знает, как там примут тебя.

Златоуст прильнул к другу.

– Я знаю, – сказал он, – хотя пока еще не думал об этом. Я уже сказал тебе: у меня нет цели. И эта женщина, что была так мила со мной, тоже не моя цель. Я иду к ней, но не ради нее. Я иду, потому что должен, потому что слышу зов.

Он замолчал и вздохнул; они сидели, прислонившись друг к другу, печальные и все-таки счастливые оттого, что чувствовали: дружба их нерушима. Затем Златоуст продолжал:

– Ты не думай, что я слеп и наивен. Нет, я иду охотно, потому что чувствую, что так нужно, и потому что сегодня пережил нечто такое прекрасное! Но я не считаю, что меня ждет сплошное счастье и удовольствие. Я знаю, мой путь будет трудным. И все-таки, надеюсь, он будет и прекрасным. Это так дивно: принадлежать женщине, отдаваться ей! Не смейся надо мной, если слова мои звучат глупо. Но, видишь ли, любить женщину отдаваться ей, плотно окутывать ее собою и чувствовать, что и ты окутан ею, это не то же самое, что ты, слегка

посмеиваясь, называешь влюбленностью. Здесь нет ничего такого, что можно высмеивать! Для меня это путь к жизни и к смыслу жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.